

В. БАЗАНОВ



КАРЕЛЬСКИЕ

ПОЭМЫ

ФЕДОРА ГЛИНКИ



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
ПЕТРОЗАВОДСК — 1945**



Ф. Н. ГЛИНКА

В. БАЗАНОВ



**КАРЕЛЬСКИЕ
ПОЭМЫ
ФЕДОРА ГЛИНКИ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
ПЕТРОЗАВОДСК — 1945

Обложка и титул работы художника

С. И. Барабошина

Отв. редактор **С. И. СУЛИМИН**

Подписано к печати 17/ХІІ 1945 г. 8 печатн. л.

+ 1 вклейка

7,0 учетно-авт. л.

Госиздат Карело-Фин-

ской ССР № 33.

Заказ № 836.

Тираж 7000.

Е-05941

Цена 8 руб.

Типография № 3 Управления издательств и полиграфии
Исполкома Ленгорсовета

ПРЕДИСЛОВИЕ

Федор Николаевич Глинка прожил долгую и нелегкую жизнь. Он имел право сказать о себе: «Я бурями вспахан, изрыт ураганом, и слезы мой были посев». Без малого сто лет прожил этот человек, и жизнь его была полна событий, бедствий и превратностей.

Родился Глинка 8 июня 1786 г. в родовом селении Сутоках, Смоленской губернии; воспитание получил в кадетском корпусе.

Глинка участвовал в войне 1805—1806 гг., состоял адъютантом знаменитого русского генерала М. А. Милорадовича, сподвижника великого Суворова, и сражался под Аустерлицем. В полной боевой готовности Глинка встретил 1812 г. Он снова был в рядах действующей армии, защищал родной город Смоленск, сражался на полях Бородина и, вместе с армией, преследовавшей отступающих французов, проделал весь заграничный поход 1813—1814 гг. На поле боя и во время отдыха, офицер-писатель вел дневник, куда вносил свои мысли и наблюдения. В результате возникли «Письма русского офицера».

В первом издании 1808 г. книга эта касалась только войны 1805 и 1806 гг. Во втором издании 1815—1816 гг. в нее вошли также и воспоминания об Отечественной войне, о Бородинском сражении и последующем заграничном походе русской армии. Таким образом «Письма» заключали весь военный опыт автора, и опыт этот был немал, он охватывал всю историю борьбы России с Наполеоном. «Письма русского офицера» упрочили за Глинкой литературную известность. Эта книга осталась как заметное явление в истории русского патриотизма.

Вернувшись в Россию из заграничного похода, Глинка основал «Общество военных людей» и редактировал издаваемый этим обществом «Военный журнал», где разбирались вопросы военной тактики и освещались боевые традиции русского народа.

Ф. Н. Глинка был одним из организаторов и руководителей политического общества «Союз Благоденствия». Одновременно Глинка являлся председателем «Вольного общества любителей российской словесности», через которое декабристы осуществляли в литературе свое идейное влияние. В лице Глинки «Союз Благоден-

ствия» имел не только прекрасного организатора общественно-благотворительного и литературного движения, но и популярного поэта-гражданина, предшественника Рылеева. Глинка довольно рано начал свою поэтическую деятельность. Уже в 1808 г. он был автором республиканской трагедии «Вельзен, или освобожденная Голландия». Затем появились «Опыты двух трагических явлений» (1817 г.) и историческая повесть «Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия» (1819 г.).

Первые опыты декабристской поэзии и прозы принадлежат Глинке. В творчестве Глинки 20-х годов преобладали жанры высокой поэзии — трагедия, гимн, элегический псалом, лирико-философская медитация, морально-дидактическая аллегория и политическая шарада, — способные выразить темы важного общественного и государственного значения. Ранняя поэзия Глинки соединяет поэзию Радищева и его учеников (Пнин, Борн, Попугаев), свободолюбивые стихотворения Гнедича («Общежитие», «Перуанец») и политическую лирику Пушкина с поэзией Рылеева. Поэтическое наследие Глинки, важное звено в истории гражданской русской поэзии, завершается творчеством поэтов-декабристов.

Глинка очень близко стоял к Пушкину, биографы Пушкина не могут миновать Глинку, хорошего знакомого великого поэта и преданного ему друга. Когда в 1820 г. Пушкина постигли гонения и когда ему грозила ссылка, Глинка деятельно хлопотал за него перед властями. Другам не удалось предотвратить ссылку Пушкина, и из них Глинка был тем, кто не пропускал случая публично высказать свое сочувствие поэту-изгнаннику. Со страниц «Сына Отечества» он приветствовал автора «Руслана и Людмилы»:

Судьбы и времени седого
Не бойся, чолодой певец,
Слевы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

Со своей стороны, Пушкин высоко ценил искреннюю дружбу и гражданские убеждения Глинки. Он отвечал на послание Глинки:

Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!

Посылая брату свои стихи, Пушкин писал: «Покажи их Глинке, обними его за меня и скажи, что он все-таки почтеннейший человек здешнего мира».

В 1826 г. Ф. Н. Глинка, привлеченный по делу декабристов, был сослан в Петрозаводск под тайный надзор полиции.

В тяжелое время для Глинки Пушкин остается верен прежней дружбе и, в свою очередь, ходатайствует за облегчение судьбы ссыльного поэта-декабриста. Получив в 1830 г. из Петрозаводска только что вышедшую поэму «Карелия», Пушкин в «Литературной газете», 1830 г. (№ 10), отзывается на нее доброжелательной рецензией. «Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, — писал Пушкин, — может быть, самый оригинальный».

Глинка активно участвовал в литературе более 70 лет, но самыми интересными годами в его жизни и творчестве были 20—30-е годы, годы декабристской деятельности и ссылки. Долголетняя ссылка постепенно заглушила свободолюбивые мечты и помыслы поэта. Глинка пережил духовный кризис: старое было разрушено,

а к новому он оказался неподготовленным. Для последнего периода его творчества характерно религиозно-мистическое настроение. Поэт Щербина называл позднего Глинку «ходячим иконостасиком», — настолько срослась со стариком Глинкой репутация религиозного писателя. Глинка доживал свою жизнь как едва ли не последний представитель пушкинского периода в литературе. Он скончался в Твери 11 февраля 1880 г. Его похоронили, отдав ему воинские почести — он сошел в гроб и как старейший русский поэт, и как старейший из участников славной войны 1812 г.

В общей истории русской литературы Глинка имеет свое место, и права поэта-патриота и поэта-декабриста на внимание потомства неоспоримы. Для советской Карелии поэзия Глинки значительна и по другим, по более частным мотивам. Более ста лет тому назад Карелия нашла в ссыльном поэте-декабристе своего внимательного и преданного художника — в двух поэмах «Дева Карельских лесов» и «Карелия» Глинка приложил свои лучшие силы к тому, чтобы воссоздать образ и красоту Карелии, малоизвестного тогда края. У него был один предшественник на этом поприще — правда, предшественник великий. Знаменитую оду Державина «Водопад» мы имеем основание рассматривать тоже как вклад в поэтическую русскую литературу, посвященную Карелии и ее природным богатствам. Державин был связан с Карелией и как практический деятель — он был первый олонецкий губернатор. Глинке тоже довелось практически поработать на Карелию, и хотя повод к этой работе был подневольный, но карельские поэмы Глинки показывают, что он проникся глубокой симпатией к этому новому для него краю. От Державина к Федору Глинке идет в русской поэзии традиция местной карельской темы, развивавшаяся из основ реального интереса этих поэтов к сурово-красивому и многообещающему краю тогдашнего русского государства.

Глинку с Державиным объединяет не одна только карельская тема. В стихах поэта-декабриста можно найти немало следов его общности с великим гражданским поэтом русского восемнадцатого столетия.

ССЫЛКА В ПЕТРОЗАВОДСК

Бывшая Олонецкая губерния служила местом ссылки и заточения революционеров. Десятки и сотни политических ссыльных, гонимых русским самодержавием, прошли по глухим дорогам и тропам Олонии. Сюда при Николае I ссылали людей, причастных к декабрьским событиям, лучших представителей молодого поколения.

Федор Николаевич Глинка оказался одним из первых, высланных в Олонецкую губернию. 5 июля 1826 г. в канцелярии начальника главного штаба было составлено отношение за № 1179, которое отправлялось к управляющему министерством внутренних дел и гласило:

«Государь император высочайше повелеть соизволил коллежского советника Федора Глинку, оказавшегося, по изысканию комиссии о злоумышленных обществах, принадлежавшим к одному из сих обществ, употребить в гражданскую службу в Петрозаводск, где жить ему без выезда под бдительным тайным надзором полиции.

Во исполнение сией высочайшей воли, отправив коллежского советника Глинку в Петрозаводск к тамошнему гражданскому губернатору, прошу покорнейше, ваше высокопревосходительство, сделать зависящее от вас распоряжение об определении его к должности по вашему усмотрению и о имени его под бдительным тайным надзором».¹

30 июля 1826 г. Глинка с фельдъегерем был доставлен в Петрозаводск. О прибытии Глинки было сообщено Олонецким гражданским губернатором Фан-дер-

Флитом управляющему министерством внутренних дел в специальном донесении от 3 августа 1826 г. за № 197.

«Почтеннейшее предписание вашего высокопревосходительства от 15 минувшего июля, — писалось в донесении, — о учинении зависящего распоряжения о тайном надзоре над коллежским советником Глинкою, я имел честь того ж июля 31 числа получить. На которое вашему высокопревосходительству честь имею донести, что коллежский советник Глинка доставлен в Петрозаводск 30 числа минувшего июля при отношении г. дежурного генерала Главного штаба его императорского величества, по имении за ним бдительного надзора предписано того ж числа петрозаводскому городничему».

Старый Петрозаводск представлял собой заброшенный провинциальный городишко. «По своей наружности этот город, — писал один из путешественников в «Русском Вестнике», — не заслуживал той величавой местности, на которой он был расположен. Это маленький городок, с восемью, кажется, церквями, в числе которых несколько деревянных... Невзрачные деревянные домики, посеревшие и большей частью постаревшие, каменные присутственные места, губернаторский дом, ряды и, наконец, совершенная тишь на улицах, пыльных летом и грязных осенью — вот физиономия Петрозаводска».²

Глинку сослали в Петрозаводск с правом «употребить его по гражданской части». Судьба его была значительно облегчена возможностью устроиться на службу. Декабристы, сосланные на вечное поселение в Сибирь, отбывавшие наказание на рудниках, где каторжный труд умерщвлял человека, заточенные в тюрьмы, оказались в несравненно более тяжелых условиях. Но и перед Глинкой открывались перспективы не слишком радостные.

17 июля 1826 г. из министерства внутренних дел имя губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого поступило отношение с просьбой сообщить о возможности использовать Глинку на службе по гражданской части. Через месяц (20 августа 1826 г.) последовал ответ, в котором генерал-губернатор сообщал, что «никакого другого места предоставить коллежскому советнику Глинке нельзя, кроме советника в губер-

ском правлении, но таковая вакансия отсутствует». Одновременно в отношении указывалось на возможность использовать Глинку сверх штатов вместо советника Борисова, который был откомандирован в комиссию по делам о крестьянах, приписных к олонекским горным заводам.

В начале октября в кабинете министров была рассмотрена записка управляющего министерством внутренних дел за № 1532 об определении коллежского советника Глинки в Олонекское губернское правление и было принято следующее решение: «Согласиться с определением Глинки советником в Олонекское губернское правление сверх штата с жалованием 1 500 руб. в год, но с тем, чтобы по открытии вакансии советника помещен он был в штат». Об этом решении управляющий министерством внутренних дел Ланской 16 декабря 1826 г. докладывал графу Бенкендорфу:

«Коллежский советник Глинка, коего высочайше повелено употребить на службу в Петрозаводск, где жить ему безвыездно под бдительным надзором полиции, по предоставлению моему и по положению Комитета гг. министров, высочайше утвержденному в 19 день прошедшего октября, определен советником в Олонекское губернское правление сверх штата с жалованием по 1500 руб. в год, но с тем, чтобы по открытии вакансии советника помещен был в штат, после же того сверх штатного советника определяемо уже не было».

Для Глинки наступили дни беспросветного канцелярского служения. В письмах Глинка жаловался на свой чиновничий быт и сравнивал его с «печальной повестью бедного человека», «утоленного и заморенного холодным чтением безобразной приказной прозы». В письме к А. А. Ивановскому от 2 августа 1826 г. Ф. Н. Глинка подробно рассказал своему земляку о серых буднях Олонекского губернского правления:

«Вы, как я вижу из письма Вашего, — писал Глинка, — желаете узнать, как я провожу здесь мое время или мой день. Охотно опишу Вам, если это стоит описания. Я встаю в 7 часов. В 8 уже занимаюсь (по обязанности старшего советника губернского правления) чтением журнальных статей или постановлений. Эта материя Вам знакома по прежней Вашей службе. В 10 я в правлении. Развитие гражданственности ознаменовывается и в сих полудиких странах необычайным

множеством бумажного дела. В почтовые дни (понедельник и вторник) мне приходится подписывать большие кипы бумаг печатных и написанных: нарядов, указов, меморий — и т. п. Недавно в одно утро, для одной почты, подписал я ровно тысячу сто девять бумаг! За механическим трудом подписывания следует большой — труд прочитывания: на каждый день, круглым числом, достается прочитать до ста больших страниц. За недостатком низших чиновников у нас советники работают вполтора. Так проходят законные часы. В три часа иду обедать; иду, ибо у себя, по моей бедности и здешней дороговизне, стола держать не могу. Часу в 5-м возвращаюсь в свою квартиру. Тут, чтобы иметь более власти над часами ночи, немножко дремлю. В 6 часов опять считаю обязанностью заняться чтением какой-нибудь толстой журнальной статьи. Это трудно, но я услаждаюсь мыслью, что на той точке земли, где поставила меня державная рука моего государя, я служу ему верно, ревностно и, смею сказать, не без пользы. К 7 часам вечера иду на пустынные берега Онеги; к 8 часам куда-нибудь захожу на часок, ибо, не играя в бостон, нигде не засиживаюсь. Часов в 9 я уже дома, и тут мое время. У меня две комнатки, просто, но очень чисто прибраны. Все предметы и вещи расставлены и развешены с мыслью, по размеру, в большом порядке. Это очень способствует к успокоению и передаванию чувств. Пылкость и жизнь мыслей, утоленная, заморенная холодным чтением безобразной приказной прозы, начинает оживать в сии часы глубокого вечернего уединения.

Тут внешний мир мало-помалу отклоняется, и промежуток между им и душою занимается какой-то высшей стихиею. В таком расположении работаю я что-нибудь в прозе, иногда пишу и в стихах, напр., «Иова». Сие бдение продолжается часов до 2-х и далее. Однако, в 3-м и в три часа я уже сплю и — странное дело, — чем горестнее положение и состояние души, тем прелестнейшие вижу сновидения: иногда снятся совсем невиданные страны, чудесный климат, цветущие долины, так что, будучи разбужен, очень живо чувствую услаждение, которое ложится на горечь бытия моего, как позолота на жесткий безобразный металл. Вот Вам мой день и ночь. Завидного в судьбе моей нет. Три несчастья тяготуют постоянно надо мною:

бедность, политическое унижение и одиночество». ³

Сохранилось интересное письмо Ф. Н. Глинки к Н. И. Гнедичу, известному поэту и переводчику «Илиады», о жизни ссыльного поэта в Петрозаводске. Участник Отечественной войны, автор «Писем русского офицера», полковник Генерального штаба, состоявший для поручений при петербургском генерал-губернаторе графе Милорадовиче, участник «Союза Благоденствия» и «Зеленой Лампы», популярный поэт и литературный деятель после декабрьских событий горестно ощущает свою оторванность от гражданского мира и литературы, свою заброшенность на «дикие скалы».

«. . . Было время, — пишет Глинка Гнедичу 24 марта 1829 г., — когда, полный жизни и деятельности, я не находил довольно теплоты в большом свете и, покидая всех, заезжал в Ваш мирный уголок. С тех пор нечаясь схватили и бросили меня в страну, отброшенную от сообщений с живым гражданским миром, которая, как некая страшная тайна, скрыта, погружена во глубине дремучих древних лесов Карелии, наводнена бесчисленными озерами, загромождена безобразными обломками разрушенных первобытных гор. В сих-то местах, в Петрозаводске, который разве по самозванству считается городом (да еще губернским), продолжаю я, не смею сказать, жизнь, но бытие томительное, теряя силы и лета. Мое звание в быту общественном, — есть звание старшего советника в Олонецком губернском правлении; занятия — текущие дела. Я изучил и благотворную страну, и черную магию приказного дела. Непостижимое единообразие существует во всех здешних занятиях и какая судьба ожидает?.. Подле меня сидит советник, изъедаемый раком, последствием пыльных канцелярских трудов. Выбежишь за город — нагое поле, усеянное могилами председателей, судей и советников. Невольно родится мысль: «Господи боже! Неужели придется умереть на чужбине, в сей стране, где и сама весна, пролетая быстро, как испуганная птица, не успеет нагреть могилы и вырастить на ней цветок!» При этой мысли какой-то внутренний мороз отдирает кожу от костей. И при взгляде более прозаическом, в самых житейских потребностях, открывается здесь во всем большой недостаток и мало удобностей. Противу

С.-Петербургского здесь все втрое дороже и вшестеро хуже».⁴

В Петрозаводске Глинка находился под тайным надзором полиции. Исполнявший после Фан-дер-Флита должность Олонецкого гражданского губернатора Лачинов 4 декабря 1828 г. на имя начальника Главного штаба послал отношение за № 40, в котором доводил до сведения, что «присланный под надзор, коллежский советник Глинка, приглашен был исправляющим мою должность г. вице-губернатором Пестелем перейти к нему на квартиру, что г. Глинкой и сделано. О каком приглашении, — писал Лачинов, — я нужным считаю уведомить ваше сиятельство потому более, что г. вице-губернатор Пестель, заступая место начальника губернии, должен будет, имея короткую связь, принять от меня с тем вместе и надзор за поведением и образом мыслей г. Глинки. С моей стороны я не решился довести сего обстоятельства до сведения государя императора без предварительного сношения с вашим сиятельством и узнать ваше на сей предмет заключение. Что ж касается до поведения г. Глинки, то оно противу прежнего не переменялось, исключая то, что он и некоторые молодые люди собираются по вечерам для чтения журналов и других книг, получаемых г. Глинкою, и хотя по разведывании моем притом ничего особенного не происходило, но считая, что подобное собрание в рассуждении г. Глинки предосудительно, я без всякой огласки приказал прекратить оное. Доводя о сем до сведения вашего сиятельства, я остаюсь в ожидании по упомянутому предмету вашего наставления».

Получив эти сведения, шеф жандармов граф Бенкендорф предложил начальнику III отделения I округа корпуса жандармов подполковнику Дейеру «обратить особое внимание» и «иметь бдительнейшее, но притом самое экстренное и неприметное наблюдение за вице-губернатором Пестелем и Глинкою».

3 января 1829 г. подполковник Дейер представил на имя Бенкендорфа рапорт, в котором докладывал: «В исполнение секретного донесения вашего превосходительства от 21 числа прошлого декабря месяца с № 4941, сим почтеннейше донести честь имею: что состоящий при мне за адъютанта подпоручик Кузьмин во время нахождения его в г. Петрозаводске по пред-

мету рекрутского набора заметил связь г. Глинки с вице-губернатором Пестелем, в доме коего Глинка живет, и говорил о сем г-ну в должности губернатора Лачинову, который советовал г-ну Глинке переменить квартиру, но он сего не исполнил. Г-н Кузьмин сделал мне донесение о сем от 3 прошлого декабря месяца, которое получено мною уже в конце оною, и я хотел донести по команде, но получа предписание вашего превосходительства, с присовокуплением, что г-н Глинка прежде всего посещал очень часто служащих при Александровском пушечном заводе братьев Бутеневых, где занимались действительно чтением журналов, но по представлению г-на Лачинова оно прекратилось».

В сопроводительном письме А. Дейер утверждал, что Глинка и Пестель имеют «точно самые тесные связи», но сомневался в их цели: «вредные ли какие, сходные их мнения, или просто скука отдаленного города, не имеющего общества, соединяют их?». На этот вопрос мы не можем дать сколько-нибудь определенного ответа. По всей вероятности, отношения Глинки с Пестелем и братьями Бутеневыми носили дружеский характер, а не характер политических связей. В лице Глинки они видели занимательного собеседника, столичного поэта. Глинка в них видел людей доброжелательных, интересовавшихся литературой и ценил их общество. Незначительный круг знакомых мог иногда украсить томительную и однообразную жизнь ссыльного поэта.

Как ни томительна была ссылка, Глинка проявил свободный интерес к краю, оказавшемуся для него местом изгнания. Он начинает бескорыстно изучать Карелию, и братья Бутеневы помогают ему ознакомиться с местной историей.

В половине июня 1828 г. Петрозаводск посетил П. П. Свиный, издатель «Отечественных записок», тогда путешествовавший по Олонецкой и Архангельской губерниям. Он встретился с Глинкой и читал ему свою нравственно-патриотическую комедию «Светский быт или сын и гражданин по моде». Об этой встрече Глинка подробно рассказывает в «Письме из Петрозаводска к издателям «Северной пчелы».⁵ Из этого же письма видно, что Глинка уже достаточно углубился в изучение Карелии и уже работал над большой поэмой: «Кивач же есть великолепное явление карельских

пустынь. Целая река Суна, на всем бегу, падает стремглав между четырьмя зубристыми скалами. Говорят, что Г. Р. Державин, вдохновленный видом водопада, написал свое бессмертное стихотворение. Кому неизвестен «Водопад» Державина? — Можно бы наскучить беспрестанным повторением и выпиской из него стихов, уже усвоенных памятью народа.

Посему я, — продолжал Глинка в «Письме из Петрозаводска», — помещаю здесь другое, несравненно низшее в литературном отношении, но более новое описание Кивача. Заимствую его из одной описательной поэмы, сочиненной здесь в Петрозаводске. Одно вводное лицо рассказывает о плавании на Киваче и о самом водопаде таким образом:

По Суне плыли наши челны,
Под нами стлались небеса,
И опрокинулись в волны
Уединенные леса.
Спокойно все на влаге светлой,
Была окрестность в тишине,
И ясно на глубоком дне
Песок виднелся разноцветной.
И за грядою серых скал
Прибрежных нив желтело золото,
И с сенокосов ароматом
Я в летней роскоши дышал.
Но что шумит?.. В пустыне шопот
Растет, растет, звучит и вдруг —
Как будто конной рати топот
Дивит и ужасает слух!
Гул, стук! — Знать, где-то строят грады;
Свист, визг! — Знать, целый лес пилят!
Кружатся, блещут звезд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли:
Кивач!.. Кивач!.. Ответствуй, ты ли? . . .
И выслал бурю он в ответ!..
Кипя над четырьмя скалами,
Он, с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж в хрустальное ребро
Пронзится горными лучами,
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят — пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днем!
Но под зарю летней ночи
Вдвойне любятся им очи:

Как будто хочет небо в нем
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Тут буду я! Тут жизнь теки!..
О, счастье жизни сей волнистой!
Где ты? — В чертоге ль богача,
В обетах роскоши нечистой,
Или в Карелии лесистой,
Под вечным шумом Кивача?

Этот отрывок впоследствии полностью войдет в поэму «Карелия».

Глинка часто вспоминал о своих петербургских друзьях, особенно он любил посылать «усердные» поклоны Пушкину и Гнедичу. Ознакомившись с первыми шестью главами «Евгения Онегина», Глинка спешит сообщить свое мнение В. В. Измайлову: «Пушкин в своей поэме «Евгений Онегин» очень хорошо описал всю ничтожность нынешнего общества, и можно понять, почему Евгений, имевший блеск и удачи, наконец застыл чувствами, остолбенел. По мне эта поэма есть самая едкая сатира на свет».⁶ В другом письме, сообщая А. А. Ивановскому впечатление о прочитанной поэме Подолинского «Див и Пери», Глинка в конце концов снова возвращается к стихам Пушкина:

«Див и Пери» получены и прочтены. Что сказать? Это прелестное, воздушное видение в самых легких очертаниях; много радужности, есть роскошь, много миловидности. Почти жаль, что она писана хорейми, хотя прелестными. Если стихи, как обертку мыслей, можно сравнить с тканью, то в ямбах сия ткань плотнее, гуще и потому надежнее удерживает мысль и чувство; хорей как-то сквозны, сетчатые, и мысли в них не довольно остепенены. Скажете: «но ямбы не так легки»; посмотрите-ка на Пушкина: его стихи легки, как пух, и полновесны, как золото».⁷

В начале 1829 г. Ф. Н. Глинка стал хлопотать о переводе его в другую губернию. Официальными мотивами Глинка выставил тяжелые климатические условия, плохое здоровье и крайнюю дороговизну в Петрозаводске. Здоровье Глинки действительно сильно пошатнулось в годы ссылки на севере. В письмах к своим друзьям он очень часто жаловался на простуду и физическое недомогание. В официальном прошении на имя начальника

III отделения, графа Бенкендорфа, от 23 декабря 1829 г. он писал:

«Три тяжких, томительных года прошли с тех пор, как я нахожусь в великом несчастии, испытывая все горести униженной судьбы и пребывания в стороне чужой и пустынной. Но совершенное сиротство, неприязненный климат и крайняя дороговизна, вовсе несоответствующая моей бедности, доходящей, иногда, почти до нищеты, не составляют и малейшего оттенка того глубокого чувства печали, которое происходит от раскаяния в том, что я имел несчастье привлечь на себя справедливый гнев православнейшего из государей».

На прошение Глинки граф Бенкендорф сообщил министру внутренних дел Закревскому 29 января 1829 г.:

«Коллежский советник Федор Глинка, сосланный за прикосновенность к делу о злоумышленных обществах на службу в Петрозаводск с учреждением за ним секретного надзора и определенный в октябре 1826 года, по высочайше-утвержденному положению комитета г. г. министров, советником в Олонецкое губернское правление, сверх штата с жалованием по 1500 руб. в год — просил меня исходатайствовать высочайшее государя императора повеление перевести его на службу в другую губернию, поелику здоровье его страдает от сурового климата и крайняя дороговизна в настоящем его местопребывании не соответствует его бедности.

По всеподданнейшему моему о сем государю императору прошению, его величество высочайше повелеть изволил перевести коллежского советника Глинку на службу в Тверь.

Сообщая вашему высокопревосходительству сию высочайшую волю, для зависящего от Вас, в исполнении оной распоряжения, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, приказать также продолжить присмотр, и о последующем почтить меня уведомлением».

За перевод Глинки в Тверь усиленно хлопотали Воейков, Гнедич и Жуковский. «Смею Вас уверить, — писал Воейков Глинке 12 июня 1830 г., — что Василий Андреевич Жуковский всегда принимал в Вашем несчастии самое живое участие и, без всякого сомнения, Вы ему много обязаны».⁸

Весной 1830 г. Глинка был переведен в Тверь.

ЛИРИКА ССЫЛЬНОГО

В годы олонеккой ссылки Глинка написал много лирических стихотворений, медитаций, элегий и романсов, изображающих грустные переживания одинокого поэта. Из лирической тетради олонеккого ссыльного вырисовывается трагический образ «переселенца», жизнь для которого приемлет образ гроба. Тоска поэта часто принимает форму горестного отчаяния. В стихотворении «Грусть в тиши», помеченном в автографе «Петрозаводск, 1828 год», Глинка сравнивает себя с надломленной елью:

И живу, не живу,
И, склонивши главу,
Я брожу и без дум и без цели;
И в стране сей пустой,
Раздружившись с мечтой,
Я подобен надломленной ели:
И весна прилетит,
И луга расцветит,
И калека на миг воскресает;
Зеленеет главой,
Но излом роковой
Пробужденную жизнь испаряет!
И, завидя конец,
Половинный мертвец —
Понемногу совсем замирает.⁹

Лирика ссыльного Глинки подчас индифферентна. Подчас она лишена общественно-политического содержания, поисков будущего, веры в завтрашний день. Это зачастую — лирика скорбная и ушедшая в себя, поэзия

декабристского декаданса. Она бывает слишком субъективна, слишком замкнута в лирическое «я», в мир внутренних переживаний одинокого ссыльного. Нередко Глинка целиком поглощен своей личной трагедией, и весь остальной мир в ней забыт.

Но есть среди стихов изгнания и такие, где личная скорбь приобретает мужество выражения и где косвенными путями к поэту снова возвращается общественная тема.

В написанной в народном духе «Песне бродяги» поэт изобразил раскольника Ивана, которого преследуют власти. Но в этом, как будто бы внешне-повествовательном стихотворении, есть скрытый смысл. Это стихотворение, сохранившееся в бумагах поэта, приводим здесь полностью, — оно, как и большинство стихотворений Глинки-изгнанника, не увидело света.

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем!

И маюсь, да маюсь.
Как сонный, скитаюсь,
И кое-где днем
Все жмусь за углом.

А дом мне — ловушка:
Под сонным подушка
Вертится, горит.
«Идут!» — говорит...

Полиция ловит,
Хожалый становит
То сеть, то капкан:
Пропал ты, Иван!...

А было же время,
Не прыгала в темя,
Ни в пятки душа,
Хоть жил без гроша.

И песни певались...
И как любовались
Соседки гурьбой
Моей холостьбой.

Крест киевский чудный
И складень нагрудный,
Цельба от тоски,
Мне были легки!

Но в доле суровой,
Что камень жерновой,
Что груз на коне,
Стал крест мой на мне!..

Броди в подгороднях,
Но в храмах господних
Являться не смей:
Там много людей!..

Мир божий — мне клетка,
Все кажется — вот
За мной уж народ!..

Собаки залают,
Боюся: «Поймают.
В сибирку запрут
И в ссылку сошлют!..»

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем!¹⁰

Стихи эти показательны для того демократического стиля, который был усвоен поэзией Глинки. Перед нами личная лирика Глинки, но здесь происходит смелый перенос. Высокий лирический поэт переносит свои пере-

живания на мужика, которого травит полиция, видит в его судьбе подобие и образ собственной своей судьбы. Для своих душевных состояний он пользуется грубыми, подчеркнуто-народными словами, он отказывается от условного идеализма в словаре и фразеологии, к которому обыкновенно прибегает лирическая поэзия, предполагающая, что о душе и внутренней жизни следует говорить словами и образами совершенно бестелесными. Короткая стихотворная строка особенно выделяет эти по-народному тяжеловесные слова и делает их неотвязными для нашего слуха. Разные картины народного быта в этом стихотворении непосредственно сливаются с его эмоциональным содержанием, которое приобретает таким образом простоту и удвоенную или утроенную силу выражения. Здесь есть уже предчувствие тех путей, по которым пошла наша поэзия со времени Некрасова. В основе этого стиля лежит допущение, что существует глубокое родство между лирической душой поэта и жизнью, которой живет народный, «мужицкий» мир. Так лирика, оставаясь лирикой, теряет свою личную замкнутость.

Другой способ для Глинки подняться над бедной и однообразной поэзией личных скорбей — это обращение к широкому и свободному описательному жанру, который всегда ему удавался.

Незадолго до отъезда из Петрозаводска в Тверь было написано стихотворение «К почтовому колокольчику», проникнутое чувством любви ко всему родному, близкому и знакомому. Обычное чувство грусти «сиротины на чужбине» в этом романсе отодвинуто яркой описательной картиной. Вместо расплывчатых эмоций и горестного отчаяния мы видим своеобразный путевой очерк в стихах, изображение народного быта: почтовый тракт, «колесистый дом», дубровые леса и «синие русские сарафаны».

Ах, колокольчик, колокольчик!
Когда и над моей дугой,
— Над тройкой ухарской, лихой,
Ты зазвенишь? Когда дорога,
Широкой лентой раскатясь,
С своими пестрыми столбами
И с живописностью кругом,
Меня, мой колесистый дом,
Мою почтовую телегу,
К краям далеким понесешь?

Когда увижу край над Волгой
 И, с гор на горы мчась стрелой,
 Меня утешит песнью долгой
 Земляк — извозчик удалой?
 Когда увижу Русь святую,
 Мои дубровые леса,
 На девах ленту золотую
 И синий русский сарафан?
 Мне, сиротине на чужбине,
 Мне часто грустно по родном,
 И Русь я вижу, как в картине,
 В воспоминании одном.¹¹

Замечательно, что и в этом стихотворении описательную часть пронизывает лиризм, и это опять-таки лиризм народный — эти удлинённые и не совсем обычно для Глинки широко разливающиеся стихотворные строки, целыми рядами забранные под одну мелодию, звучат на тон и лад народного «ямщицкого» романса.

Многочисленные псалмы, элегии, медитации и романсы, написанные Глинкой в Петрозаводске, являются одной из самых ярких и самобытных страниц его творчества. Они поражают отсутствием стилистических канонов и смелостью поэтического образа. Глинка удачно сочетал элегические мотивы, навеянные настроением изгнания и одиночества, с этнографической живописью, с поэзией местных мотивов. В этих стихотворениях мало условностей, мало вялых и неясных метафор, так характерных для более раннего Глинки, тяготевавшего к иносказаниям и аллегориям. В поэтический язык поэт вводит местные слова и обороты, достигая этим самым особой характерности стиха, делая стих упругим, твердым и энергичным. Цитируем еще одно из стихотворений Глинки: «Вздых», вместе с примечаниями, которыми снабдил его Глинка:

Брега пустынные темнеются, как коймы,
 Онега зеркалом лежит;
 И паруса сложили соймы... (1)
 Ничто не движется, безлюдный берег спит.
 И волны тихие смешались с небесами
 Чуть слышен гул грозы — и молния горит
 Над Повенецкими лесами... (2)
 Торчат, как призраки, огромные скалы, —
 Природы древние обломки... (3)
 Зачем уснули вы, кипящие валы!
 Где ты, порывный ветер? — где вихри
 в свистах звонких?
 Вы, древние жильцы в сих горных теснотах,

Мой вздох моим друзьям промчите в высотах!
Вас просит грустный преселенец:
Скажите им, что он в пустынных сих местах
О них тоскует, как младенец!¹²

Вот примечания, сделанные Глинкой к этим стихам: «(1) — Особого рода крытые лодки. (2) — Город Повенец (уездный, Олонецкой губ.) окружен древними дремучими лесами, в стране дикой, почти безлюдной. (3) — Здешние скалы, по свойству своему, почти все принадлежат к обнаженной горно-каменной породе, называемой Брегчих. Полагают, что это обломки перво-созданных гор, разрушенных движением великих вод, которых следы везде запечатлены на почве здешних полей, нагруженных камнями, песком и раковинами».

Художественно-этнографический элемент этого стихотворения непосредственно сказывается на его фонетике. Какие-нибудь «коймы» и «соймы», будучи почти однородны по своему фонетическому составу, оформляют звуковую сторону, придают стиху местную лексическую окраску и делают его по-особому осязаемым. Глинка придавал повышенное значение отдельному слову, группе слов, фонетически близких, и в этом отношении он значительно ближе стоял к державинской поэзии, звучной и несколько шероховатой, нежели к поэзии элегического романтизма, уделявшей особое внимание целой строке и ее тщательной отделке, но не отдельному слову. Примечания Глинки говорят о том, что он особенно дорожит всем локальным элементом своего стихотворения. Это лирика вообще, лирика индивидуальных переживаний, но она всецело опирается на местные локальные образы. Как звучание этих стихов имеет местную окраску, так имеет ее и всё внутреннее их лирическое содержание. «...И молния горит над Повенецкими лесами», — местную деталь Глинка поднимает до значения грозно-возвышенного явления вообще, а «Повенецкие леса» проникнуты почти державинским полногласием, они звучат торжественно и видятся торжественно, как символ и образ не местной только природы, но величия природы вообще. Поэтическое обобщение проникнуто у Глинки местным этнографическим содержанием, и обратно: местное способно у Глинки к бесконечному поэтическому расширению.

Пейзажная лирика открывала Глинке путь к большему его описательным поэмам, посвященным Карелии.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПОЭМА О ССЫЛЬНОМ

В годы олонеекой ссылки Глинка написал повесть в стихах «Дева Карельских лесов» и известную поэму «Карелия или заточение Марфы Иоанновны Романовой». «Дева Карельских лесов» оставалась долгое время в архиве. При жизни поэта в печати появились два отрывка: «Не все могильной тишиною» и «Я говорил: любви не стало». Появились они в «Северных цветах» за 1832 г. (стр. 94—97 и стр. 138—141) при ближайшем участии А. С. Пушкина, который в ноябре 1831 г. просил Глинку послать стихи в память барона Дельвига.

«Милостивый государь Федор Николаевич, — писал Пушкин 21 ноября 1831 г. — Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние Северные Цветы. Из всех его друзей только Вас да Баратынского не досчитались мы на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего был он связан... Надеюсь еще на Вашу благосклонность и на Ваши стихи. Может быть увижу Вас скоро, по крайней мере, приятно кончить мне письмо мое сим желанием.

Весь Ваш без церемонии Пушкин».¹³

Через неделю, т. е. 28 ноября, Глинка ответил Пушкину не менее искренним письмом и благодарил своего друга за приглашение участвовать в предполагаемом издании последних «Северных цветов» в память барона А. А. Дельвига. Кроме двух отрывков из поэмы «Дева Карельских лесов», Глинка в «Северных цветах» напечатал «Псалом 103» и стихотворение «Созерцание».

Автограф поэмы был обнаружен нами в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (Москва). На титульном листе рукописи сохранилась следующая пометка рукою Глинки: «Дева Карельских лесов, Андрею Афанасьевичу Никитину, 1828 г., марта 6-го, в г. Петрозаводске». Рукопись «Дева Карельских лесов» представляла собой считую тетрадь с вложенными в нее листами-вставками, в общей сложности на 62 листах. Рукопись содержит в себе три слоя: беловой, вставки в несколько листов и вставки меньшего объема. Глава поэмы «Лесные войны» была, по всей вероятности, написана Глинкой позже — в 1829 г. Глинка, видимо, предполагал вести в поэму новые картины-аллегии, но не завершил свой замысел, ограничившись отдельными дополнениями, часто мало связанными с общим развитием сюжета. На этом основании «Лесные войны» следует считать отдельно стоящим, но тоже незаконченным произведением.¹⁴

В основу «Девы Карельских лесов» положен рассказ одного из петрозаводских старожилов, об отшельнике, скрывавшемся от преследований закона в глухом олонецком лесу. В введении к поэме Глинка сообщает:

«Около 1695 года, леса, окружающие пустынное озеро Лексу, укрывали трех братьев-изгнанников. Они были княжеского рода. Память о них и поныне жива в пустыне Выгорецкой.

В 18** году, один из почтеннейших в сем крае (в Олонецкой губ.) чиновников, искусный стрелок, любя странствовать в диких местах (он, может быть, находил в них сходство с своим природным отечеством — горною Шотландиею), проник, однажды, далее обыкновенного в лесистые окрестности города Петрозаводска, застрелил большую медведицу с двумя подростками и в чаще пустынного леса заметил следы постоянного жилища человека. В ту же ночь сделал обыск; лучи зажженной лучины осветили темноту бора и открылось, что там, в местах необитаемых, действительно жил, с давнего времени, человек, уклонявшийся от преследования закона. Он был женат и уже в пустыне стал отцом 5-х детей. Все они жили в хижине, имели корову и некоторое хозяйственное обзаведение.

И в самые недавние времена находили по лесам Олонецкой губернии уединенных скитальцев, скрыто

проживающих, иногда по несколько лет, в убогих хижинах. Вместе с ними представляли в суде небольшое их имущество. Оно состояло из самодельных шведских туфлей, разных изделий из карельской березы и мелких вещей, украшенных резьбой. Сим, говоря по-русски, коротали время сии отшельники от общества, которое должно было преследовать их законом возмездия».

Реальный сюжет о скитальцах, бежавших в лесную глушь, в поэме выражен крайне слабо. О братьях-изгнанниках, скрывающихся в XVII в. в Выгорецкой пустыне, повествование совершенно умалчивает. В поэме изображается лесной житель и его дочь (дева карельских лесов), «сии отшельники от общества», которых «преследует закон возмездия». Можно предполагать, что под отшельником Глинка имел в виду беглого олонецкого крестьянина.

Государственные крестьяне, приписные к Александровскому заводу, действительно совершали побег в глухие олонецкие леса и там скрывались от преследований закона. Когда Александр I в 1819 г. посетил завод в Петрозаводске, ему доложили, что в бегах находятся 120 человек: «Число беглых и бродяг всякого рода умножается ежедневно», — говорилось в «Записке о ручных и ножных кандалах», относящейся к 1828 г., т. е. к моменту работы Глинка над «Девой Карельских лесов». Таким образом сам факт, изображаемый в поэме, относится столько же к 1695 г., сколько и к 1828 г.

Известно, что работа приписных крестьян состояла преимущественно в том, что они выполняли «урки»: рубили дрова, разламывали угольные кручи, доставляли руду на завод. Об этих «урках» Глинка говорит в примечаниях к поэме: «урками — называется повинность в натуре, которую отправляют крестьяне Петрозаводского уезда, приписные к казенным заводам. Под названием «урков» (или уроков) возят уголь, который жгут в лесах, и руду, добываемую со дна озера. Но эта деталь («Однако ж из глухой Карелы, возя заводские урки»...) не связана с основным сюжетом об отшельниках. Все, что касается уточнения действительной фабулы, раскрытия реальной биографии лесного жителя, поэтом явно недосказывается, содержится в строгом секрете.

Покинув дом, свои поля,
Отброшен от своей отчизны,
Он... как обломок с корабля,
Упав, забыт в день жаркой битвы...

...И он в далекой стороне,
Иссохший, медленно сгорает
В чужбине, на чужом огне...

...Так он!.. Но имя будь сокрыто!
Страдальцев тайной дорожу!
И все, что мной от них открыто —
Без их имен я расскажу...

... Он... видите ль... он обвиненный...
И что, и как?.. Не знаю я...
Но за 17 лет, семья
Иль только он (спасенный),
Отколь: с дороги ль из тюрьмы?
Кто знает? О том не знаем мы!
Она и он в сии пустыни
Пришли и погрузились там.

Тема об отшельнике, которого преследует закон, интересовала Глинку в более специальном плане, нежели тема о беглом олонецком крестьянине. В поэме фактически отсутствует «крестьянская» фабула. Включив эту тему в круг своих творческих интересов, и превратив рассказ петрозаводского чиновника в один из основных эпизодов «повести в стихах», Глинка окрасил краеведческий сюжет в субъективные тона, сдружил его с личными переживаниями. Поэт с глубоким сочувствием, как к братьям по судьбе, относится к лесному жителю и его дочери — деве карельских лесов. Свою поэму он не случайно называет повестью о «несчастных» и просит «не доносить» в суд, отклоняет закон возмездия:

Не говорите людям! Бедный!
Пусть доживает! Что губить?

В первоначальной редакции эти строки звучали несколько иначе:

Не доносите в суд! Пусть бедный,
Пусть доживает, что губить.

Выбор сюжета об «изгнанниках» был продиктован судьбой самого Глинки. Эта поэма включает мотивы

(тоска по родине, надежда на возможное возвращение в родные края и новую встречу с друзьями), вполне характерные для лирической поэзии Глинки, для его элегий и романсов («Вздых», «Призыв», «Грусть в тишине», «К почтовому колокольчику», «Глас» и др.), написанных в годы ссылки. В судьбе отшельников, в их переживаниях много общего с судьбой и переживаниями самого поэта. Можно сказать, что поэт и его герои, объединенные одним настроением, живут одним желанием: «Прощай, прощай, отчизна скал!»

Уточняя замысел своей поэмы, Глинка признается: «Я предлагаю повесть о несчастных. Может быть, читатель захочет исследовать: когда? где? и кто такие они были?»

Загадочные вопросы, на которые не решается отвечать и сам автор поэмы, все же наводят на некоторое размышление. Глинка просит не исследовать его «бедного цветка», а потом признается: «поступайте как угодно с моей повестью». В поэме постепенно образуется второй, подразумеваемый сюжет. Этот второй, нелегальный, если можно так выразиться, план поэмы создается путем превращения лесного жителя в своеобразного философа, рассуждающего о превратностях века.

Отшельник произносит тираду о «сынах разврата» встает на защиту простых людей, воспитанников природы... и ни слова не говорит о себе.

Они забыли прежних нравов
Незлобие и простоту:
Вошли охотой в тесноту
Условных приторных уставов,
И полюбили суету
И жадных прихотей причуды.
Не стало жизни у живых:
Они, как праздные сосуды,
Везде во все ввели расчет.
Сыны греха, сыны разврата,
Честей алкают, ищут злата,
И стал жесток сей хладный род,
Как сей металл, им столько чтимый!..
Верь мне: у них не стало сладких,
Простых, но свежих, пылких чувств:
Везде поддельный блеск искусств,
И все разгаданы загадки;
Их жизнь — прочитанный роман,
Который повторять уж скучно!

В этой тираде о «сынах разврата и греха» трудно не услышать голоса поэта-обличителя из «Соревнователя просвещения и благотворения», переживающего скорбь за человечество, погрязшее в тине мелочных страстей, продолжения прежней полемики с «жестоким» и «холодным» веком металла. Так Федор Глинка, один из деятельнейших членов «Союза Благоденствия», выступал на заседаниях тайного общества и на собраниях «Вольного общества любителей российской словесности», обращаясь к общественному мнению с призывом положить конец социальной несправедливости, карая зло и восхваляя добродетель.

В ранних элегиях Глинки противопоставление бедности и роскоши, простых хижин и богатых дворцов, жизни духа и греховности быта было вполне устойчивым. Глинку постоянно интересовал вопрос о «светской суете» и счастье человеческом. Одна из его медитаций так и называется «Внутреннее наслаждение и светская суета». В элегиях «Странствование амура», «Три брата — искатели счастья» и «В чем счастье?» поэт отвечает на вопрос о счастье:

Что нужно к счастью, в чем оно?
В богатстве, все твердят давно.
В богатстве, говорит богатый
И строит каменные палаты.
Совет — но счастье не идет.
Там море роскоши, а счастья капли нет.¹⁵

Эта ходячая мораль глинковских элегий со временем уступила место более выраженным формам критики светской морали и этики. Придав элегии своеобразный вид нравственной аллегории, Глинка постепенно очистил ее от спокойного сентиментального тона и безмятежного эпикуризма. Положительная сторона элегий, напечатанных в «Соревнователе», заключается в демократизации традиционной темы о дворцах и хижинах, в снижении элегического сюжета. Противопоставляя каменные палаты и хижины, поэт призывает заботиться о человеческом счастье, пытается переоценить существующие нормы и правила. Элегическая тема («Приютимся, друг бесценный, в мой укроанный уголок») часто поворачивается в его стихотворениях резким выпадом против «пышных чертогов» и «низких льстецов». Так образ мотылька («Мотылек»), ослепленного блеском

огня, напоминает поэту людей, погибающих в разврате и роскоши, и получает в стихотворении «К снегирю» параллель в образе снегиря, любителя свободы и воли:

Быть свободным в бедной хате
Лучше, чем в большой палате
Жить — как в клетке золотой.

А в стихотворении «К соловью в клетке» эта аллегория о снегире переводится в план общественных отношений, и поэт, как бы преодолевая карамзинско-батюшковские традиции, обращается к виновникам неволи «соловья» как обличитель и гражданин.

Обращение звучит как гневная сатира на «низких льстецов»:

Пусть тираны строят ковы,
И златят цепей свинец,
И приемлют их оковы
Раб безгласный, низкий лстец —
Поруганья пья, как воду,
Дар небес — свою свободу —
Предают за дым они.
И, лобзая тяжки длани,
Платят век покорства дани.
И влачат без жизни дни.
Пусть земные полубоги
В недрах славы и честей
Громоздя себе чертоги,
Будут в них рабы страстей.
Для чего мне дом огромный?
Дайте мне шалаш укромный
Из соломы и ветвей,
Дайте дружбу и свободу,
Стану петь, хвалить природу,
Как на ветке соловей¹⁶

Это стихотворение показывает, что Глинка был настроен совсем не идиллически, что сатирическое настроение поэта нарушило лирический покой «дворцов» и «хижин».

Довольно обычная в русской поэзии XVIII и начала XIX вв. антитеза дворцов и хижин получает у Глинки гораздо более серьезное содержание. Хижину («шалаш») славили и Карамзин, и Батюшков, и Жуковский. Но у них хижина означала лишь временный отдых от роскоши и светской суеты, особый вид удовольствия, летний отпуск для опытного эпикурейца, который хочет месяц—другой насладиться простотой, так же как

он наслаждался изобилием благ жизни. У Глинки «хижина» более проникнута значением, какое придавал ей в своей социальной философии Ж. Ж. Руссо — это противопоставление порочной цивилизации современности более демократическим, более ранним, в порядке социальной истории, формам человеческих отношений: это противопоставление народных форм формам буржуазного быта, со всей социальной несправедливостью, на которых они покоятся. Об этом наглядно свидетельствует программное высказывание Глинки в его «Опытах аллегории в стихах и прозе», где своеобразная критика «европейского человека *» сочеталась с гуманическим утверждением прав личности.

* Жан-Жак Руссо в эпоху расцвета наук и искусства подвергнул беспощадной критике абсолютистско-феодальный порядок и открыто заявил о вреде прославленной буржуазно-дворянской цивилизации. Энгельс отмечал глубокую диалектичность такой постановки вопроса, указывая на то, что в учения Руссо о равенстве нашло свое применение гегелевское отрицание, «...и это еще более чем за 20 лет до рождения Гегеля». Руссо не только подвергнул беспощадной критике собственнический строй, но и с величайшим энтузиазмом защищал в своих политических и художественных произведениях идею природного, естественного равенства и общественного договора. Он защищал первобытную простоту жизни, искал спасения на лоне природы и в противовес испорченному европейцу выдвигал идеализированный образ «естественного человека». Основы своей философии Руссо изложил в трактате «О причинах неравенства», где признал период «естественного состояния лучшим этапом в истории человеческой жизни: люди в «естественном» состоянии равны, а значит и счастливы».

«Пока люди довольствовались сельскими хижинами, — говорит Руссо, — шили себе одежды из звериных шкур с помощью деревянных колючек или рыхких костей, украшали себя перьями или раковинами, разрисовывали свое тело в различные цвета, улучшали или делали более красивыми свои луки и стрелы, выдалбливали острыми камнями немудрящие рыбацьи лодки или выделяли с помощью тех же камней грубые музыкальные инструменты, словом, пока они выполняли лишь такие работы, которые были под силу одному, и разрабатывали лишь такие искусства, которые не требовали сотрудничества многих людей, они жили свободными, здоровыми, добрыми и счастливыми, насколько могли быть таковыми по своей природе, и продолжали наслаждаться всей прелестью независимых отношений. Но с той минуты, как человек стал нуждаться в помощи другого, с той минуты, как люди заметили, что одному полезно иметь запасы пищи, достаточные для двух, равенство исчезло, возникла собственность, стал неизбежен труд, и обширные леса превратились в нивы, которые нужно было поливать человеческим потом, и на которых скоро взойшли и расцвели вместе с посевами рабство и нищета». (Ж. Ж. Руссо «О причинах неравенства», перев. Южакова, Спб., 1907, стр. 78).

«В огромной картине творения более всего привлекает внимание наше человек со стороны его природы нравственной, в которой собственно заключается великая тайна нашего счастья. Мне всегда было весело читать о людях в состоянии дикой независимости. Я любил освежать воображение, переносясь в леса необозримые, на берега озер пустынных, ища повсюду следов первобытного порядка мира. Я видел людей в жизни искусственной, ими самими изобретенной, в тесноте их пыльных улиц, угарных городов и в палящем дыхании страстей, иссушающих первобытную свежесть души. На пространстве от Волги до Сены, от Дуная до берегов Северных морей мне случилось знакомиться с человеком в шалашах и хижинах, в тишине кабинета и в шумной грозе воинского стана. И вот что было плодом моих любимых наблюдений в людях. Суетная привязанность к мелочам, любовь к видимости, стремление к наружному блеску и суетливые заботы житейские слишком много отвлекают европейского человека от спокойных размышлений, которые постоянно за собой приводят мудрость и счастье».¹⁷

Рассуждение Глинки о человеческом счастье нашло свое конкретное выражение в «Деве Карельских лесов». Изучая народный быт, всматриваясь в нравы и обычаи северного крестьянства, Глинка воочию убедился, что Руссо во многом был прав, что «дети природы» выгодно отличаются от баловней светского общества.

Ф. Н. Глинка видел в «женевском мудреце» своего учителя, страстного проповедника идей социальной справедливости и гуманизма. Еще в «Письмах русского офицера» он устами крестьянина Ивана Свешникова говорил о Руссо: «Руссо самый красноречивый писатель; он хоть кого обворожит!» В подтверждение идей Руссо о «естественном состоянии» людей и свободном воспитании, Глинка в своих «Письмах» ссылается на выходцев из низов русского народа, воспитавшихся на лоне природы, далеких от эгоизма и лицемерия, ученого и поэта Ломоносова и крестьянина-философа Свешникова.

«Кто бы мог подумать, увидя сына простого рыбака, сидящего на диких скалах Белого моря, что он будет некогда знаменитым сыном России, великим мужем, — славным Ломоносовым! — Никто не предугадывал механика и химика в сыне Ржевского купца Волоскова. Но оба они — первый под шумом Северного моря, второй

в тишине ржевских роц, сгорали страстью к учению. Еще на заре жизни, ощущая в себе бесценные дары природы, сквозь все препятствия стремились они к усовершенствованию оных. — Свешников, едва ли кому известный, достоин также занимать место в ряду отличнейших мужей отечества нашего. Природа, производящая необыкновенных людей, кажется при самом рождении посеяла и в нем семена великих дарований. Он, подобно Ломоносову, родился в крестьянском звании: способности его расцвели на полях родины, где он пас стадо своего отца».*

Через 12 лет после появления «Писем русского офицера», в годы работы над «Девой Карельских лесов», Глинка пишет письмо В. В. Измайлову, в котором еще раз¹ признает рассуждения Руссо о просвещении во многом справедливыми: «Смейтесь как хотите, — пишет Глинка из Петрозаводска, — признательно скажу, что Руссо в речи своей во многом прав. Просвещения! Просвещения! Это заветный талисман, который использует и губит! Все зависит от меры, способа и приложения к месту и времени. Грамотность у нас считается просвещением, а я здесь вижу ее существенный вред. С небольшим за 100 лет Петр Первый спросил у воеводы олонецкого: «Сколько у тебя дел?» Воевода пал на колени и сказал: — Виноват, государь! — «Что это значит?» — У меня нет дел! — «Да разве у вас не спорят, не ссорятся?» — Все бывает, — отвечал воевода, — да я ссорящихся мирю, и на бумагу ничто не выходит!»

Так было 100 лет тому назад, когда читать не умели и жили по-лесному, по простоте. Теперь здесь много грамотеев и множество ябедников: за всякий толчок ссоры, за всякую копейку споры, тяжба! От сего присутственные места завалены бумагами, чиновники в денно-ночной работе и народ в бесконечной хлопотливости. Ну чем же опровергнут это любители всякого просвеще-

* Этот отрывок из «Писем русского офицера» (1815 г., ч. III, стр. 88—90), перепечатанный тогда же в «Сыне Отечества» (1815 г., ч. XXIV, стр. 163—183), был известен Кюхельбекеру-лицейству, поклоннику Руссо и Вейса. В «Словаре» Кюхельбекера есть запись: «Свешников Иван Евстратьевич прибыл в С.-П. в 1784 г. из Тверской губернии — воспитанник природы и прилежания». Крестьянин-самоучка Свешников выведен Пушкиным в «Разговоре с Натальей Кирилловной Загряжской» (1835 г.) в лице приказчика на барках Ветошкина. См. исследование «Пушкин и Кюхельбекер» Ю. Тынянова в «Литературном наследстве» (1934 г. 16—18, стр. 337).

ния?»¹⁸ В «Деве Карельских лесов» и в этом письме мы слышим отзвуки прежних симпатий поэта-декабриста к учению французских просветителей, пример своеобразного декабристского «народоведения». Испорченным нравам и застывшим чувствам светского общества, которое, при всем его внешнем великолепии, часто превращало людей в праздных тунеядцев, в карельской поэме противопоставляются «сыны природы», культ простой личности и ее естественное движение чувств. Отсюда становится понятным несколько идеализированный портрет лесной карелки:

Как ты мила, полукарелка,
Невинная, как простота!
Твое хозяйство: клест да белка!
Твоя младая красота
Цветет и родилась в пустыне,
Далеко от отцовских стран!
Твой сарафан, карельский синий,
Как хорошо твой облил стан!
И твой товарищ лебедь белый, —
В воде, на суше спутник твой!
Ручной, и ласковый, и смелый
К тебе в колени головой
Доверчиво порой ложится
И дремлет — полный тайных нег!
А клест — над головой кружится,
А белка — свой грызет орех,
Рисуясь на плече. — Как мило
Все, что твое! Но на руке
Кольцо золотое не светило,
И в непроколотом ушке
Алмаз не искрится в сережке,
И на летучей, стройной ножке
Лесная обувь: за спиной
Стрела... Кому она грозила?..
Ты, верно, ею не губила
Жильцов своей глуши лесной;
Ты добрая! Ты знала жалость!
Тебя расстраивала малость:
Была игрушкою — стрела!
Как жаль, что ты в поре расцвета
Должна дичать вдали от света,
А ты, о дева, так мила!..
.....
.....
.....

Лесной житель и его дочь являются выражением некоей возвышенной справедливости и добра; сила их состоит в отсутствии рефлексии, в искренности и есте-

ственности чувств. В своеобразную величественную фигуру вырастает поборник «простых» и «свежих чувств», лесной житель, когда он говорит о своей жизни. Светом большой любви озарены его чувства к покойной жене и дочери, которая при рождении «слезами облита, взлелеяна и горем повита». В своей поэме Глинка дает образец «свободного воспитания», которое направляет человека к естественной простоте, возвышенным и благородным чувствам. Таким апофеозом «прекрасной души» и «нежного сердца» в поэме «Дева Карельских лесов» является дочь отшельника, предоставленная свободному развитию естественных наклонностей. В этой агитационно-пропагандистской тенденции состоит прямая связь «Девы Карельских лесов» с ранней элегической поэзией Глинки, ставившего на первое место защиту правды и нравственности, критику «европейского человека», который в противоречии с собственной цивилизацией и культурой, как моральное существо, вместе с ходом истории, опускается все ниже и ниже.

Глинка не хотел ограничиться условно-романтическим изображением «простых людей». Вся дальнейшая фабула свидетельствует о том, что сюжет поэмы «Дева Карельских лесов» должен был окончательно сблизиться с судьбой ссыльного декабриста. С этой целью в сюжет карельской поэмы Глинка ввел образ незнакомца, своеобразного «карельского пленника». Появление «незнакомца» на Севере, среди озер и скал, мало мотивировано. В глухом олонецком лесу «незнакомца» случайно встретила дочь лесного жителя; после краткого рассказа о своей жизни («Мы жили над большой рекой, лесной питаюсь пищей» и т. д.) «дева» просит «доброе гостя» поведать о себе: «Скажи мне: кто ты? Мне мило знать про жизнь твою... где край родимый? Зверей гонимый иль гонитель?». «Незнакомец» не дает прямого ответа на вопрос карельской девушки:

О, дева! Дева! Ты напрасно
Грустишь... Когда бы знала их,
Не здесь, не в сей стране пустынной,
Моя качалась колыбель.
Сынов разврата и коварства,
Тоскливых, бурных в их страстях!
Я был в далеких сторонах
И дивные я видел царства:
А я
.

На этом «а я...» рассказ «доброе гостя» обрывается. Загадочный герой остается неузнанным и в беседе с лесным жителем:

Они под сосну удалились
И уж не на враждебный бой:
Друг с другом скоро объяснились
И сблизились одной судьбой...
И дева слышала неясно,
Что говорили... «Безопасно»...
И тот и тот в одно сказал —
«Я чист! Я кровь не проливал,
Невинен пред царем и богом!
Я строжим
Был...» Каждый замолчал.
И вот несчастные — уж братья!
Друг другу руки и обет,
Друг друга поняли — объятья!
И тихо вымолвен завет

Одно ясно: «несчастный человек» пришел на север не по своей воле. Ф. Н. Глинка на протяжении всей фабулы не раскрывает реальной биографии «незнакомца», много недосказывает, оставляя читателям право догадаться: кто ты? И все-таки автор «Девы Карельских лесов» не смог полностью скрыть биографии своего героя, затушевать знакомого «незнакомца». Между строк, не рассказывая подробно о прежней жизни «доброе гостя», Глинка сообщает, что он «с Европою знаком», «развлекал досуги чтением», и «вот, увлекшись раз движением, он иностранным языком с отцом заговорил». Все это дает основание предполагать, что таинственный незнакомец родственен тем людям, которые, побывав в Европе и «увлекшись движением», после 14 декабря 1825 г. оказались в бпале, в числе отверженных «несчастных». Что это именно так, свидетельствует ответная песнь беглеца, составляющая один из центральных мотивов поэмы. На этом эпизоде поэмы следует остановиться более подробно.

Отшельники мирно коротали длинные осенние вечера; лесной житель под звуки кантеле пел руны, а их «добрый гостя» внимательно слушал. Но вот однажды «добрый гостя» запел ответную песню:

«Я затвердил си напевы!» —
Наш гостя хозяевам сказал,
И преклонясь на просьбу девы,
Он руны древние читал.
Так длинный вечер их пустынный

Весь посвящен был старине:
И повторял им гость, что люди
В их Саволакской стороне
Для слуха ласковым языком
Поют о давнем, о былом,
Беспечно сидя под стеклом
Своих озер, в приюте диком...
Но он певал и об ином:
О юноше, о горькой доле,
О чем-то грустном: о неволе
В каком-то месте потайном.
Когда ж то было? — Чьи страданья?
Как знать? — То в давних временах!
Но вот, что занял от преданья,
Поет он, вторя на струнах:
«Не слышно шуму городского,
В далеких башнях тишина,
И на копье у часового
Горит янтарная луна...
А бедный юноша, ровесник
Младым, цветущим деревьям,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам:
«Прости, отчизна, край любезный,
Прости, мой дом, моя семья;
Я за оградю железной,
И уж не свой вам больше я!
Не жди отец меня с невестой,
Сломись венчальное кольцо;
Застынь мое на свете место,
Не быть мне мужем и отцом,
Сосватал я себе неволю,
Мне дети — слезы и тоска;
Но я молчу... Такую долю
Взяла сама моя рука».
Уж ночь прошла; в лазурном поле
Давно день новый засиял;
А бедный юноша в неволе
Все так же жалобно стенал,
Все ту же песню напевал».
Как песни слушала слова!
Как ими дева любовалась!
Но отчего на грудь склонялась
Ее прелестная глава? —
О чем так тихо ты мечтала?
И слезы искрились о ком?
Она кого-то узнавала
В том бедном узнике младом!
О нем душа тоской болела
И кинуться к нему она,
Как к брату милому, хотела,
Но страха тайного полна,
Раскрыть души своей не смела,
И чувство скрыла в первый раз,
И вот впервые покраснела!..

«Добрый гость» своей песней ответил на вопрос девкарельских лесов: «Кто ты? Зверей гонитель иль гонимый?» Он и был тем узником, о котором говорилось в этой песне. Это тем более важно, что песня беглеца представляет собой не что иное, как популярный декабристский романс, который долгое время приписывался Рылееву.

В 1831 г. романс «Узник» был напечатан в альманахе «Венера». Позже «Узник» без упоминания имени автора был перепечатан в заграничном издании «Русская потаенная литература XIX столетия», а также в «Собрании стихотворений декабристов» («Библиотека русских авторов», Лейпциг, 1862, т. II).

«При печатании полного собрания сочинений К. Ф. Рылеева, — говорилось в примечаниях к тому II «Библиотеки русских авторов», — мы не решились поместить в нем стихотворение «Узник», считая принадлежность его Рылееву сомнительной. Впоследствии мы имели случаи говорить о подлинности названного стихотворения с людьми, близко знавшими Рылеева, но никто из них не выражал ни малейшего сомнения в принадлежности его перу нашего поэта-гражданина. Это побудило нас напечатать стихотворение во втором томе нашего издания».

В 1871 г. П. А. Ефремов, публикуя в томе III «Русской старины» неизданные думы Рылеева, перепечатал стихотворение «Узник» на том основании, что «во множестве рукописей, нам попадавшихся, всегда приписывается Рылееву». Познакомившись с публикацией Ефремова, Глинка послал в редакцию «Русской старины» небольшую заметку, в которой утверждал, что этот романс «отнюдь не Полежаева и нисколько не Рылеева; это просто одного моего знакомого!» «Мой знакомый» — это сам Глинка. Еще П. А. Ефремов справедливо догадывался, что «Узник» принадлежит самому Глинке, что он является его автором.

Первый набросок будущего «Узника», мы находим среди стихотворений Глинки, написанных в Петропавловской крепости.¹⁹ Именно там, за глухой стеной Петропавловской крепости, сложился первый вариант этой тюремной песни, ставшей со временем исключительно популярной. Образ «несчастливого узника» содержится в стихотворениях «Буря», «Луна и узник», «Узник мотыльку», «Луна», «Свет». Если из стихотво-

рения «Луна и узник» в романс почти дословно перейдет строка: «А бедный узник за решеткой» («А бедный юноша в неволе»), то в стихотворении «Луна» намечены основные мотивы и образы будущего «Узника»: неволя, ночь, луна, кивер часового. Приведем это небольшое стихотворение:

Среди безмолвия ночного
Луна так весело глядит,
И луч ее у часового
На ясном кивере горит!
Ах! Погляди ко мне в окошко
И дай мне весть о вышине,
!тоб я, утешенный немножко,
Увидел счастье хоть во сне.

Строка «И на штыке у часового» встречается в стихотворении «Свет»:

На трубке в желтом янтаре
И на штыке у часового —
Повсюду свет луны сияет.

В «Деве Карельских лесов» Глинка перефразирует эти строки и соберет вместе все световые и красочные обозначения («желтом янтаре» и «свет луны сияет»), сольет их в новый художественный образ:

И на копье у часового
Горит янтарная луна.

Таким образом, «Узник» первоначально входил в поэму «Дева Карельских лесов»; позже он был переработан и попал без упоминания автора в альманах «Венера».*

* Между автографом «Девы Карельских лесов» и журнальным текстом имеются существенные разночтения:

2 — В далеких башнях тишина
3 — И на копье у часового
4 — Горит янтарная луна
9 — Прости, отчизна, край любезный
10 — Прости, мй дом, моя семья
11 — Я за оградю железною
13 — Не жди, отец, меня, с невестой
15 — Застынь, мое на свете место
18 — Мне дети — слезы и тоска
19 — Но я молчу . . . такую долю

На нечских башнях тишина
И на штыке у часового
Горит двурогая луна
Прости, мой дом, мой кров любезный
Прости навек, моя семья,
Здесь за решеткою железной
Прости, отец, прости, невеста
Отныне здесь мое уж место
Мой жребий — слезы и тоска
И мне сносить такую долю

Нас интересует этот романс главным образом потому, что он окончательно раскрывает образ «незнакомца». Несомненно, что Глинка собирался показать в «Деве Карельских лесов» ссыльного декабриста, который после декабрьского движения был заброшен в глухую Олонию. Сюжет был заманчивым и в то же время почти неосуществимым. Автор не решился назвать героя по имени; беглец оказался настолько заgrimированным, что конкретное содержание образа стерлось. Условно-романтическое изображение лесных жителей заслонило важную тему о ссылке. Поэт, видимо, и сам чувствовал противоречие между замыслом и художественным воплощением; поэму Глинка оставил незаконченной, в черновой редакции, и не решился на публикацию. Но и в том незаконченном виде, в котором она была нами опубликована в 1939 г., через 110 лет после ее создания, «Дева Карельских лесов» представляет некоторый историко-литературный интерес. Поэма эта свидетельствует, что Ф. Н. Глинка в годы олонецкой ссылки усиленно искал новой формы романтической поэмы, способной выразить трагическую судьбу «молодого человека» начала XIX века.

С внешней стороны «Дева Карельских лесов» имеет как будто некоторое сходство с «Цыганами» Пушкина и «Эдой» Баратынского, но в целом поэма Глинки не является литературным спутником этих вполне оригинальных поэм. За исключением монолога лесного жителя о светской суе и внешнего совпадения некоторых сюжетных ситуаций, «Дева Карельских лесов» лишена точности и ясности, драматизма и психологизма пушкинской поэмы. Различие между этими поэмами выясняется при простом сличении Алеко с изгнанником, проживающим в карельских лесах. Еще Белинский указывал, что протесты Алеко эгоистичны, что слова ста-

29 — Уж ночь прошл ; в лазурном
поле

30 — Давно лень новый засиял

31 — А бедный юноша в неволе

32 — Все так же жалобно стонал

И ночь прошла с рассветом ясным

За ней день новый засиял

А бедный узник в каземате

Все ту же песню повторял

Стихи с 21 по 22 строку — в черновике поэмы отсутствуют. По всей вероятности Глинка известный по журнальному тексту патристический куплет создал значительно позже, когда получил разрешение выехать из Петрозаводска в Тверь. Интересно отметить, что впоследствии Александр Блок заимствовал из романса Глинки два стиха («Не слышно шуму городского, на невских башнях тишина») и почти без изменения включил их в поэму «Двенадцать».

рого цыгана — «ты для себя лишь хочешь воли» — выражают основную идею этой поэмы. Пушкин раскрыл противоречивость Алеко — поборника «прав природы» и одновременно жестокого эгоиста, нарушившего права и обычаи вольного народа. Алеко — сложный психологический характер. Беглец из мира страстей к «простым людям» в «Деве Карельских лесов» также не является героем вводным, эпизодической фигурой, хотя его любовь к девушке-карелке не служит предметом прямого описания. И вместе с тем, образ беглеца, которого преследует закон, разработан Глинкой слишком статично, вне всякого развития характера. О «добром госте» известно:

Рост средний. Грудь взвилась высоко,
Осанист, кудри на плечах,
Веселый, свежий, черноокий,
С огнем души в больших глазах;
С винтовкой, гусли за плечами.

Что касается внутреннего портрета беглеца, внутренней сущности этого характера, то Глинка, ограничившись внешним эффектом, не сумел создать образ, который бы отражал внутренние переживания и чувства героя, остался в своей поэме на поверхности темы о «молодом человеке», переживающем новый конфликт с окружающей его действительностью.

Не может «повесть в стихах» Глинки, несмотря на некоторое сюжетное сходство, быть также поставленной в сравнении с «финляндской повестью» Баратынского. Автор «Эды» не только пришел в своей поэме к реалистической манере повествования, но и разрешил задачу психологического раскрытия, перешел от романтического изображения к реалистическому раскрытию человеческих чувств. «Прочтите сию простую восхитительную повесть, — замечал Пушкин, — Вы увидите, с какой глубиной чувства разлита в ней женская любовь». А. С. Пушкин отметил «Эду» Баратынского, как произведение, «замечательное своей простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров». Баратынский, не желая «итти избитою дорогой», писал свою «финляндскую повесть» с установкой на противопоставление романтическим поэмам. Традиционную сюжетную схему (любовный роман гусара с финской девушкой) он заполнил новым содержанием. Баратынский отка-

зался от лирической манеры повествования, от исключительной судьбы героя и внешних экзотических описаний. Реальный конфликт человеческих страстей, чувства повесы-гусара, Эды и ее отца-старика, разные бытовые подробности и яркие пейзажные характеристики, вполне отвечающие природе Финляндии, составили своеобразие и отличительную черту этой повести в стихах. Опыт Баратынского Глинка несомненно учел в «описательном стихотворении» «Карелия». Об этом свидетельствует переход в этой поэме от лирического тона к фабульному повествованию; сама установка на народный быт и местную этнографию соответствовали литературно-эстетическим принципам Баратынского. Наконец, Глинку могла вдохновить и северная тема Баратынского и вся та красота севера, которую старается передать «Эда».

«Дева Карельских лесов» ближе стоит к традиционным байроническим поэмам, нежели к «финляндской повести» Баратынского, имеющей от байронических поэм значительные отличия. Из сопоставления «Девы Карельских лесов» Глинки с «Цыганами» Пушкина и «Эдой» Баратынского становится очевидным сентиментально-романтический характер карельской поэмы и ее особенности: обилие эффектов, установка на некоторую декоративность, подчас нечто искусственное и театральное. Герои поэмы Глинки живут жизнью поэта, являются носителями его чувств и настроений, они больше напоминают отшельников из светского общества, нежели беглых крестьян, обреченных на томительную жизнь и тяжелую борьбу за существование. И вместе с тем Глинка как автор «Девы Карельских лесов», поэмы о «простых людях», написанной, на первый взгляд, в обычном сентиментально-пасторальном тоне, не является эпигоном того элегического романтизма, представителями которого были Козлов и Подолинский. «Дева Карельских лесов» по своему фабульному замыслу находится в кругу тех ранних романтических поэм, в частности «Кавказского пленника» Пушкина, которые, сохранив в композиционном построении и в обрисовке характера черты байронических поэм, вместе с тем, были связаны с поэтической идеологией декабристско-пушкинской поры.

Сама тема о «простых людях», воспитанниках природы, в карельской поэме в какой-то степени продолжает развивать ранние опыты певца «Союза Благоден-

ствия». И, наконец, самое главное отличие «Девы Карельских лесов», а вслед за ней и «описательного стихотворения» «Карелия», от прочих романтических поэм состоит в сближении традиционного сюжета (встреча беглеца из высшего света с туземной девушкой) с «повестью о несчастных», т. е. с повестью о ссыльных декабристах. Глинка в своих карельских поэмах использует условно-романтический сюжет об отшельниках для изображения более реального героя-декабриста после 14 декабря. На смену «незнакомцу» в поэме «Карелия» придет монах-отшельник, который продолжит дидактические рассуждения ссыльного поэта, пережившего декабрьскую трагедию, арест и ссылку в глухую Олонецкую губернию.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В ПОЭМЕ «КАРЕЛИЯ»

Оставив поэму «Дева Карельских лесов» незаконченной, Глинка в 1829 г. принимается за «описательное стихотворение» — «Карелия». Отрывки из этой поэмы впервые появились в 1829 г. в «Подснежнике» и в «Карманной книжке для любителей русской старины и словесности». В 1830 г. «Карелия» вышла отдельной книгой в Петербурге. В хлопотах по ее изданию принимали участие А. А. Никитин и О. М. Сомов. 22 января О. Сомов писал Глинке: «Карелия» Ваша мне не чужая: в нынешнем (6) № газеты будет о ней сказано от души; и я сам просматриваю корректуру по просьбе книгопродавца Непейцина: ибо А. А. Никитин крайне занят. Кажется, будет издана очень приятно: об этом я хлопочу. Сегодня просмотрел я уже 5-й лист; останется еще $\frac{1}{2}$ л. текста. Многие места в ней мне очень нравятся: особливо картины мест, поверья и сказки о витязе Заонеге. Она отпечатается к концу нынешнего месяца».²⁰

В феврале 1830 г. Глинка посылает из Петрозаводска А. С. Пушкину один экземпляр своей поэмы, снабдив его надписью: «Милостивому государю Александру Сергеевичу в знак отличного уважения и преданности от сочинителя». Одновременно Глинка пишет письмо Пушкину, полное искренних чувств и признаний.

«Из глубины карельских пустынь я посылал Вам (через барона Дельвига) усердные поклоны. Часто, часто (живя только воспоминанием) припоминал я то приятнейшее время, когда пользовался удовольствием личных

свиданий, Вашею беседою и, как мне казалось, приятию Вашею, для меня драгоценною. И без Вас мы, любящие Вас, были с Вами. В пиитическом уголке любезного Н. А. Плетнева мы часто и с любовью о Вас говорили, радовались возрастающей славе Вашей и слушали живое стереотипное издание творений Ваших — Вашего любезного брата Льва Сергеевича. Он прочитывал, от доски до доски, целые поэмы Ваши наизусть с величайшей легкостью и с сохранением всех оттенков чувства и пиитических красот.

Так было до того рокового часа, как всеобщий переворот в гражданской судьбе моей умчал и погрузил меня в дремучие леса Карелии. 1/3 времени моего здесь пребывания провел я в ближайшем товариществе с двумя молодыми медведями, моими воспитанниками. Далее, ознакомясь с делами и лицами, по обязанностям службы, стал ближе к людям. У меня есть Ваш портрет. Только жаль, что Вы в нем представлены с какою-то пасмурностью: нет той веселости, которую я помню в лице Вашем. Ужели это следствие печалей жизни? В таком случае, молю жизнь, чтобы она, заняв все лучшее у муз и славы, утешала Вас с таким же усердием, с каким я читаю Ваши пленительные стихи.

Приемлю смелость (хотя и трудно на это отважиться!) препроводить к Вам мою Карелию, — произведение лесное и горно-каменное. Наши критики читают глазами то, что написано от души: но Вы, которому давалась и природа внешняя со всем великолепием своего разнообразия, и природа внутренняя человека с ее священной таинственностью, Вы, может быть, заметите в Карелии чувствования, незаметные другим или другими пренебрегаемые.

Примите благосклонно мою лесную сироту и верьте искренней преданности и совершенному почитанию, с коим имеет честь быть, милостивый государь, Ваш покорный слуга Ф. Глинка, старший советник Олонецкого губернского управления!»²¹

Содержание «Карелии» несколько необычно. Все сочинение подразделено на четыре части, которым предпослан пролог, составляющий описание Карелии, и короткий эпилог. В первой части рассказывается о любви грека к турчанке Лейле; во второй части молодой отшельник, лишившийся Лейлы, убитой собственным отцом, оставляет Грецию, посещает Италию и попадает

в Карелию, где ведет беседу с заонежской заточницей Марфой Ивановной Романовой; в третьей части является новое лицо — Маша, дочь крестьянина Никанора, которая рассказывает четыре сказки о богатыре Заонеге, и, наконец, в четвертой части снова появляется монах-отшельник, который произносит духовные речи.

Фактически в «Карелии» объединены три сюжета: исторический—о Марфе Ивановне Романовой, сосланной Борисом Годуновым в Толвуйский погост; религиозно-дидактический рассказ о скитаниях монаха-отшельника, история его переживаний и духовные речи; фольклорно-этнографический, состоящий из описаний карельской природы, мифологии и быта северных крестьян. Каждый из названных сюжетов имеет самостоятельный интерес, и существуют они аморфно, независимо друг от друга. Глинка первоначально мечтал создать большую стиховую вещь на историческом материале, в которой собирался показать отношение олонечких крестьян к годуновщине, потом отказался от широкого исторического плана. Замысел не был полностью реализован и историческая действительность не нашла в поэме широкого освещения. Заонежская заточница Марфа Ивановна Романова, сосланная Борисом Годуновым в 1601 г. в Толвуйский погост, почти не действует: она только слушает монаха-отшельника, а сама «есть не что иное, как поэтический призрак». В введении к поэме, чувствуя незавершенность этого образа, Глинка предупреждал читателя, что заонежская заточница мало действует и разговаривает потому, что «по важности ее сана, ей нельзя было дать разговора о предметах неважных: о важном же, собственно до нее касающемся, ей говорить было не с кем».

Одновременно Глинка указывал, что «из хода повествования видно, что она (заонежская заточница — В. Б.) есть средоточие всего действия: к ней приходят, ее стараются занять повествованием, к ней относятся и мысли и действия всех и каждого. Итак, она есть, без сомнения, первое лицо в рассказе, и если не всегда действующее, то всегда владычествующее над действиями других».

Идейный замысел поэмы «Карелия» может быть понят только при учете отношения Глинки к социальной жизни конца XVI в. В бумагах поэта сохранился первоначальный набросок рукописи о крестьянине Никаноре,

принявшем непосредственное участие в судьбе заонежской заточницы. Отправляясь с тайным посланием в Москву, Никанор обращается к Марфе Ивановне с такими словами: «Я пойду через глухую Карелу. Там много есть добрых. Они знают про честь. Они готовы на все отважиться. Нам годуновщина наскучила. По одному знаку Выгозеры прискачут на конях с топорками и с пиками. Кареляки селеньями придут с пищалями. В одну ночь не станет ни стрельцов, ни терема. Тебя мы увезем далеко, далеко за леса, за болота, на поморье далекое. Годуновщина только до Олонца, а леса — наши владения. Никто не знает наших темных лесов. Ты будешь у нас Карелицею». ²²

Местные крестьяне, согласно историческим документам, действительно оказали большое внимание заонежской заточнице. С риском для собственного благополучия, местный священник Ермолай Герасимов и его сын Исаак, крестьяне Глездуновы, Татурины и Сидоровы, как истинные герои, разузнали место изгнания инока Филарета, передавали ему письма из Толвуи в далекий Антониев-Сийский монастырь, получали оттуда письма и привозили их инокине Марфе. Насколько важно было для Марфы Ивановны получение этих сведений, лучше всего говорят слова грамоты, данной царем Михаилом Романовым: «пожаловали есмя» за то, что «и про отца нашего здоровье проводывали и матери нашей великой государыне Марфе Ивановне, обвещали». ²³

Автор «Карелии» намеревался сказать то, что прекрасно показал Пушкин в «Борисе Годунове», заставив юродивого Николку произнести суд над «царем-Иродом». Олонецкие крестьяне отзываются о Борисе Годунове, как о «самоохотном царе» и «чернокнижнике»:

В Карельский — Выгозерский стан,
Из красных Замосковских стран,
Переселялись люди... Вскоре
Узнали... Судят, говорят
И сетуют на Годунова,
И за Романовых творят
Молитву. Их душа готова
Страдальцев славных оправдать
И защитить. «Она ведь мать
«Царям родного Михаила:
«Что ж делать? Годунова сила!..
«Она Романовых почтенные семьи;

«Самоохотный царь их гонит без причины:
«Знать, черно книжник он! Знать, Русь околдовал! . .
«Весь род Романовых по ссылкам разослал:
«И Марфе Иоанновне пришлось у нас, с кручины,
«Свой век окоротать, тоскуя сиротой!»
Так молвили промеж собой,
Так голос русский отзывался!
Но кто-то, больше всех, судьбой
Печальной Марфы занимался. . .

В этих словах выражено отношение Глинки к Борису Годунову, как к «царю-чернокнижнику». Вернее, это мнение Карамзина, некритически воспринятое художественной литературой и публицистикой 20-х годов. Карамзин считал годуновщину «великим злом», при котором «господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою». Закрепленный «Историей» Карамзина образ «царя-Ирода» интересовал Глинку не столько как историческое лицо, сколько как более общий пример «плохого» монарха. Важно, что Глинка считал Бориса Годунова царем вне закона, а в годуновщине видел антинародное движение. Неслучайно крестьянин Никанор предлагал объявить Марфу Ивановну Романову своей «Карелицей», т. е. царицею, избранной самим народом. Здесь несомненно сказалась умеренно-декабристская точка зрения на царя, как на народного избранника, власть которого ограничена законом и мнением народа. Отсюда становится понятным противопоставление «самоохотного» царя Бориса царю Михаилу Романову, который был избран Земским Собором.

Тема о крестьянине, спасающем заонежскую заточницу, мать Михаила Федоровича Романова, к которому декабристы относились как к «всенародно избранному» царю, была важна для Глинки, так как давала возможность включить в галерею художественных типов еще одного выходца из народа, рядового карельского крестьянина, выполняющего долг перед родиной, защищающего не просто боярыню Марфу Ивановну, а мать «народного избранника». Напомним, что еще Рылеев в известной думе «Иван Сусанин» возвеличил костромского крестьянина, спасающего боярина Михаила Федоровича от польских захватчиков. Рылеева занимал не столько самый факт самоотверженной смерти «за царя», сколько смерть с именем Родины на устах.

«Если мы обратимся к истории, — справедливо замечал Н. А. Добролюбов, — то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений, в самых трудных положениях, на самых высоких степенях государственных, в самых разнообразных отраслях наук и искусств. Вспомним, например, темного мещанина нижегородского. Минина, спасавшего Россию, в то время, когда не было в ней ни царя, ни порядка, ни заготовленных ранее сил... Вспомним другого простолюдина, костромского мужика Сусанина, твердо и непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России».²⁴

Не следует забывать, что в 1613 г., когда сын заонежской заточницы Михаил Федорович Романов был избран на русский престол, Олонецкая губерния подвергалась немецко-литовскому нападению. Вражеские отряды жгли деревни, разоряли монастыри, насиловали женщин, убивали беззащитных людей. Всюду чужестранцы «землю пустошили, города воевали, церкви божии, оскверняли, людей мучили всякими муками и на смерть побивали, и по лесам разгоняли, всякий живот грабили, дворы и деревни жгли, и скот выбивали, и все до конца разоряли». Царь Михаил для защиты древнейших русских селений от немцев-литовцев послал в Заонежье специальные воинские отряды, и в 1614 г. силами русского ополчения с помощью карельских крестьян полчища неприятелей были разбиты. Немалую роль в этой непосредственной связи с центром Московского государства сыграли и те взаимоотношения, которые установились между заонежскими крестьянами и инокиней Марфой Ивановной Романовой, которая в 1613 г. стала «великой государыней».

Исторический сюжет в поэме «Карелия» не получил должного развития. Описательные картины и духовные речи монаха-отшельника постепенно оттеснили тему о социальных потрясениях и годуновщине. Исторический сюжет фактически не состоялся. Не состоялся он еще и потому, что история слишком откровенно переключалась с современностью. Тема о смутном времени напоминала междуцарствие 1825 г., а рассуждения о «самоохотных» и законных царях давали повод для аналогии

между законным Константином и «самоохотным» Николаем. Смысл исторического сюжета в «Карелии» состоит не в доказательстве антинародного характера русского самодержавия, а в стремлении понять значение народа во внутривластной борьбе и в противопоставлении «законных» царей «самоохотным» и «чернокнижникам». За этим противопоставлением стоит прежний конституционный монархист Глинка, предлагавший в 1820 г. на престол императрицу Елизавету Алексеевну. Глинка не был сторонником социальных смут и потрясений, так же как он не был поклонником тех царей, которые запрещали «искренне говорить между собою». Борис Годунов в карельской поэме вовсе не исторический характер, а просто подставная фигура, удачно подсказанная «Историей» Карамзина. Борис Годунов в сознании Глинки столь же одиозен, как и Николай I.

Борис Годунов в поэме совершенно не участвует, он находится за пределами сюжета. Только крестьянин Никанор отзывается о нем как о «чернокнижнике» и говорит, что олонечским крестьянам годуновщина не по плечу. Этот же Никанор, «жизнем карел, душою русский», признается в любви и уважении к Марфе Ивановне Романовой: «тебе я верен: Романовых люблю я дом!» Образ Марфы Ивановны Романовой в поэме столь же условен, как и образ Бориса Годунова. В заонежской заточнице есть что-то от «благотворительной» императрицы Елизаветы Алексеевны, которую Глинка, будучи членом «Союза Благоденствия», всячески восхвалял и прославлял. Заонежская заточница, прощаясь с Никанором, говорит:

О пробудись, страна родная!
Он пал, самоохотный царь!
Зови царей своих законных!
Вдовеев храм твой и алтарь!..
Мы кровь уйдем; утешим стоны:
Как любим русских мы людей —
Бог видит!.. Мы не мстим!.. Любовью
Сзовем мы верных и друзей;
И до кончины наших дней
За кровь не воздадим мы крови...
Как жажду видеть я Москву,
Читать любовь там в каждом взоре;
И приклонить свою главу
К святым мощам, в святом Соброре!
.

В этой концовке прочитана политическая мораль, выражен идейный смысл исторического сюжета поэмы: «кровь унять», «утешить стоны», «любить русских людей», «не мстить», «за кровь не воздавать кровью». Так Пушкин в «Стансах» советовал Николаю I идти по пути Петра I, быть незлобным и милостивым царем, снять опалу с декабристов. И Глинка хорошо усвоил мысль Монтескье, что «милость есть отличное качество государей»; в поэме «Карелия» он не отказался от идеи о «милостивом» и «добродетельном» монархе на троне. Отсюда становится понятен смысл тех «милостивых» грамот царя Михаила Федоровича, пожалованных в 1613 г. олонецким крестьянам, на которые Глинка ссылается в тексте поэмы и в примечаниях к ней. По преданию, толвуяне были вызваны в Москву и награждены именными жалованными грамотами на угодья и льготы; крестьяне объявлялись свободными от тяглой подати, ограждались от обид под страхом царской опалы на тех, «кто учнет делать через царские жалованные грамоты и крестьян изобидит». Заонежские крестьяне были награждены за то, что «непоколебимым своим умом и твердостью разума служили и прямили и доброхотствовали о всем, про отца царева здоровье проводывали и матери царицы обещали и в таких великих скорбех и в напрасном заточенье во всем спомогали». Глинка считал «милостивые грамоты», данные на защиту крестьян от разорения и ограбления, документом первостепенной общественной важности. В связи с этими «грамотами», следует напомнить, что по инициативе Глинки декабрист Н. И. Тургенев в 1816 г. написал известную записку «Нечто о крепостном состоянии», которая имела своей целью побудить правительственные сферы к облегчению участи крестьян и к искоренению злоупотреблений со стороны помещиков. В годы олонецкой ссылки Глинка не отказался от мечты о добродетельном и просвещенном монархе, который улучшит положение крепостного сословия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О ССЫЛЬНОМ

На «Деву Карельских лесов» и «Карелию» следует смотреть как на развитие одного и того же творческого плана. В отдельных описательных картинах и в композиционном построении «северные» поэмы имеют много общего. В той и другой поэме мы имеем дело лишь со структурными особенностями так называемых романтических поэм, с традиционными приемами этого жанра. Поэмы начинаются со свободных картин, изображающих суровую и величественную природу севера; появление действующих лиц обозначается вводными вопросами («Отколь: с дороги ль? Кто знает?» — в «Деве Карельских лесов»; «Кто ж он?.. Какой уроженец?..»). «Зачем? из каких стран в сей край недавний поселенец? — И что с ним деялось? Где был?» — в «Карелии»); сохраняются структурные особенности романтической поэмы, в частности фрагментность картин и отрывочность композиции; монолог героя (лесной житель и монах-отшельник) является организующим моментом всей композиции; в качестве самостоятельного эпизода в сюжет поэм входит встреча героя с туземной девушкой (в одном случае с карельской девушкой; в другом — с гречанкой); широко привлекается этнографический материал и своеобразный мир народных легенд и преданий, изображаемой местности. «Карелия», подобно «Деве Карельских лесов», не имеет единого плана повествования и является ярким примером разорванной композиции; поэма построена с обычной для романтических поэм фрагментарностью, она содержит легко изымаемые

отрывки, вполне законченные по теме. В первых двух главах поэма Глинки повторяет традиционные фабульные ходы русских романтических поэм; в ней можно отметить явно подражательные сроки и отдельные совпадения сюжетных ситуаций («Шильонский узник» Жуковского, «Чернец» Козлова, «Кавказский пленник» Пушкина). Особенно много заимствований из «Гяура» Байрона. История монаха-отшельника до его появления на севере во многом напоминает судьбу байроновского героя. Напомним сюжетную канву «Гяура»: Гяур любит жену Гассана; Гассан, узнав об измене Лейлы, зашивает ее в мешок и бросает в море. Гяур преследует Гассана и убивает его. После этого Гяур уходит в монастырь, где и кончает свои дни. Глинка воспроизводит сюжетную схему поэмы Байрона: житель Смирны любит турчанку Лейлу (у Байрона Лейла, у Глинки — Лейла), отец Лейлы в порыве гнева убивает свою дочь (в поэме Байрона Гассан убивает свою жену). Герой Глинки, после кратковременного пребывания в темнице, уходит на север и становится монахом (как и Гяур Байрона).

Отметим, что не только Глинка, но и Рылеев в «Войнаровском» использовал сюжетную канву «Гяура». «Общий план поэмы «Войнаровский», — замечает В. И. Маслов, — навеян был «Гяуром» Байрона: как Гяур рассказывает перед монахом картину прошлой жизни — историю своей любви, так и Войнаровский в беседе с Миллером рассказывает ему историю своей жизни. В подробной обрисовке героев Рылеев также пользовался байроническими красками, вследствие чего его Войнаровский, Мазепа и Гайдамак очень напоминают Конрада и Гяура в поэмах Байрона». (В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев 1912, 279—292.) Сюжетная ориентация на «восточную» поэму Байрона свидетельствует об определенных симпатиях и антипатиях Глинки, говорит о связи его поэмы с традиционным жанром романтической поэмы. Но это еще не значит, что Глинка продолжает линию байронического романтизма 20-х годов. Вернее говоря, Глинка выдвигает свое решение проблемы байронического героя, отличное от Рылеева, который видел в Байроне «возвышенного поэта» с «душою Катона».

Глинка был большим поклонником поэзии Рылеева, он с восхищением отзывался о его энергичном таланте.

«С Рылеевым, — вспоминал Глинка, — я был знаком. Он был членом «Вольного общества», где я был президентом и где Пушкин, вся лицейская дружина и всего человек до 40 заседали каждую неделю в доме Войвоцы. Познакомившись и с доброю, любезною женою Рылеева, я крестил у них сына и всегда был почитателем прекрасного (по моему мнению) таланта моего кума — таланта всегда энергичного, всегда подтепленного огнем».

Сохранив на протяжении всей своей жизни симпатию к Рылееву, Глинка в годы ссылки отказывается от идейных принципов рылеевских вольнолюбивых поэм.

Между поэмами Рылеева и Глинки, на первый взгляд, имеется несомненная связь, вернее даже прямая зависимость. Сама форма «Карелии», как описательной поэмы, в значительной степени подсказана Рылеевым. В описательных картинах «Карелии» имеется много общего с пейзажами и местными картинами «Войнаровского». Сходство поэтов состоит в их преднамеренной ориентации на этнографический рисунок и яркие пейзажные характеристики, на зрительный, красочный образ. Причем это сходство определяется не только родством изображаемого материала (в одном случае природа, этнография и быт Сибири, в другом — Карелии), но и общим для них влечением к национально-самобытным формам поэзии, к народности, которую декабристы, как известно, расценивали очень высоко.

Глинка испытал и более субъективное влечение к Рылееву, восхищаясь его повествовательной замашкой, пылким и энергичным слогом. В описательных картинах, не снижая своеобразия своего стиля, Глинка следовал не только за Державиным, но и за Рылеевым.

В поэме «Карелия» нет прямой реминисценции, за исключением лексического совпадения нескольких строк («Всегда сурова и дика», «Дика Карелия, дика», «Олень несется быстроногий» — «И мчится тут олень рогатый» и т. д.), но отдельные образы и картины, а главное, структура стиха и повествовательная манера Глинки и Рылеева несомненно перекликаются, имеют много общего. Возьмем для примера следующую аналогию:

Пуста в Кареле сторона,
Безмолвны Севера поляны:
В тиши ночной, как великаны,
Восстав озер своих со дна,
В выси рисуются обломки —
Чуть уцелевшие потомки
Былых, первоначальных гор.
Но редко человека взор
Скользит, заходит в их

изгибы.

Одни, встревожась, плещут
рыбы,

Иль крики чаек на водах
Пустынный отзыв оживляют.
Дика, Карелия, дика!
Надутый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Я проходил по сим хребтам,
Зеленым дебрям и пещерам:
Везде пустыня: здесь и там
От Соломейского пролива
К семье Сьюсарских островов,
До реки с жемчугом игривой,
До дальних северных лесов,
Нигде ни городов, ни башен
Пловец унылый не видал,
Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал.
Там ярмарка. Там все пестро
И все живет: там торг богатый.
Берет уклад на серебро;
И мчит туда олень рогатый
Лапландца с ношею мехов;
На ленты, зеркальцы,

монисты

У жен лесных кареляков
Меняют жемчуг их зернистый
Новгородцы-торгаши:
И в их лубочны шалаши
Несут и выдру, и кунцу,
И чернобурую лисицу.
И хвалятся промеж собой
Карельцы ловкою борьбой.

В стране метелей и снегов,
На берегу широкой Лены,
Чернеет длинный ряд домов
И юрт бревенчатые стены.
Кругом сосновый частокол
Поднялся из снегов глубоких,
И с гордостью на дикий дол
Глядят верхи церквей высоких;
Вдали шумит дремучий бор,
Белеют снежные равнины,
И-тянутся кремнистых гор
Разнообразные вершины...

Всегда сурова и дика
Сих стран угрюмая природа.
Ревет сердитая река,
Бушует часто непогода,
И часто мрачны облака...
Никто страны сей безотрадной,
Обширной узников тюрьмы,
Не посетит, боясь зимы
И продолжительной и холодной.
Однообразно дни ведет
Якутска житель одичалый;
Лишь раз иль дважды в

круглый год,

С толпой преступников
усталой,

Дружина воинов придет;
Иль за Якутскими мехами,
Из ближних и далеких стран,
Приходит с русскими купцами
В забытый город караван.
На миг в то время оживится
Якутск унылый и глухой;
Всё зашумит, засуетится,
Народы разные толпой:
Якут и юкагир пустынной,
Несут богатый свой ясак,
Лесной тунгуз, и с пикой

длинной

Сибирский строевой козак.

Близость «северных» поэм (сибирской и карельской) состоит не только в перекличке отдельных строк и в сходстве повествовательного слога; в «Карелии» и в «Войнаровском» мы видим совпадение основных сюжетных ситуаций. Сюда мы относим: встречу Войнаровского с историком Миллером и встречу монаха-отшельника с Марфой Ивановной Романовой. Заонеж-

ская заточница, подобно ученому Миллеру, является только отзывчивым слушателем, в беседе она почти не участвует и в развитии действия существенной роли не играет. В поэме Глинки образу ссыльного Войнаровского соответствует образ отшельника, прошлая жизнь которого воспроизводит некоторые черты рылеевской характеристики героя. Об этом свидетельствует прямое сличение текста:

У Глинки

Он знал любовь, мечты и
славу,
 Желаний прелесть и отраву...
 Он видел мир, боренья зла
 И битвы дерзкого порока
 С смиренной правдой. Но была
 Его душа превыше рока...
 Но он? — Войну он полюбил;
 И уж в рассветных жизни
годах
 Бывал и в битвах и в походах
 И (сам о том он вспоминал)
 Дамасской саблею играл
 В кровавых играх жизни
ратной;
 Крутил коня, молодой и
статной:
 И этот конь под ним кипел, —
 Огонь в глазах, с летящей
гривой,
 Как будто обогнуть хотел
 И ветр Иемии счастливой.

У Рылеева

Но знал и я когда-то радость
 И от души людей любил,
 И полной чашею испил
 Любви и тихой дружбы
сладость.
 Среди родной моей земли,
 На лоне счастья и свободы,
 Мои младенческие годы
 Ручьем игривым протекли;
 Как легкий сон, как
привиденье,
 За ними радость на мгновенье,
 А вместе с нею суеты,
 Война, любовь, печаль,
волнение
 И пылкой юности мечты.
 Враг хищных крымцев, враг
поляков,
 Я часто за Палеем след
 С ватагой храбрых гайдамаков
 Искал иль смерти, иль побед.
 Бывало, кони быстроноги
 В степях и диких, и глухих,
 Где нет жилья, где нет дороги,
 Мчат вихрем всадников лихих.

Отмечая общность повествовательного слога, прямые и косвенные совпадения, схожесть композиционной структуры (пейзажное оформление, одинаковое соотношение повествовательных и описательных моментов, монолог героя и т. д.), мы не собираемся говорить о буквальной близости этих поэм. Важно, понятно, не только откуда взял Глинка отдельные сюжетные ситуации и фабульные положения, у кого он учился повествовательной манере и т. п. Не менее важно, что сделал с воспринятым сюжетом Глинка, как осмыслил тему о ссыльном.

Сама тема о политическом ссыльном не была новой для русской поэзии 20—30-х годов. «Ссылный» — так называлась первоначально знаменитая поэма Рылеева «Войнаровский». Поэма Рылеева 22 мая 1823 г. обсуждалась на многолюдном собрании «Вольного общества», где председателем был Глинка. Поэма Рылеева имела огромный успех. Декабрист А. П. Беляев сообщает, что «Войнаровский» был «знаком каждому и повторялся во всех дружеских и единомышленных кружках». Декабристы знали, что и их впереди ждет суровая кара. Но пасть за свободу они считали своим гражданским долгом. В самоотверженном служении идее состояла героика и романтика деятелей тайных обществ, готовившихся вступить на путь открытой борьбы с самодержавием. Благословляя свою судьбу, Рылеев писал в знаменитой «Исповеди Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

«Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, — сообщает в своих воспоминаниях Н. А. Бестужев, — у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух обрывка невольно поразил Михаила. «Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание писал ты самому себе и нам с тобою? Ты, как будто, хочешь указать на свой будущий жребий в этих стихах». — «Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь хоть минуту в своем назначении? — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян».²⁵

Поэмы Рылеева и после 14 декабря не утратили своей актуальности. Теперь они многими воспринимались

не как поэмы предчувствий, а как поэмы итогов, как поэмы, ставшие скорбным памятником декабристам. В частности так воспринимал поэму «Войнаровский» Ф. Н. Глинка в годы олонецкой ссылки.

В поэме «Карелия» перед читателем снова воскрес загадочный странник, герой с неясной судьбой. Появляется он на Севере столь же неожиданно, как и беглец в «Деве Карельских лесов». О прежней жизни этого отшельника даются многочисленные подробности. Известно, что в молодости житель Смирны бывал в «битвах и походах», «любил мечтать», знал «славу, желаний прелесть и отраву», «он видел мир, боренья зла и битвы дерзкого порока с священной правдой», «наш друг поэзию любил», «он гроб Марона посетил и прочитал на нем Гомера», блуждал по Италии, он «всю Германию прошел, искал чего-то и, случайно, людей с неузнанною тайной вдали от общества нашел». Ясно, что этот человек когда-то носил Чайльд-Гарольдов плащ, а потом его сменил на монашеское одеяние. Это человек с холодным рассудком, отщепенец общества, он познал «затворы неволи душевной», пережил восторг и разочарование, оценил и взвесил противоречия, которыми полна жизнь современников.

И пусть земные, как рабы,
Влачили радостно оковы
Земной униженной судьбы;
Он сердцем кроткий, но суровый
К лукавым прелестям забав,
К затеям суеты ничтожной,
Давно с очей своих сорвав
Повязку, он узрел сей ложный,
Сей странный, коловратный свет,
Где с самых давних, давних лет,
Все та же, в разных лицах, повесть!..

На Севере, у берегов Онежского озера, «под вечным шумом Кивача», отступник света нашел лучший мир («милы мне эти горы и эта дикая страна»), но не излечил своих душевных ран, потому что

И все у них, как и у нас:
Есть чернь и титул благородных;
Суды, расправы и приказ,
Но нет балов, торговки модных,
Карет, визитов, суеты
И бестолкового круженья.

Признание Глинки не может не напомнить концовки пушкинской поэмы «Цыганы», дописанной поэтом в михайловском одиночестве:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Умственные интересы монаха-отшельника во многом совпадают с общественно-литературными исканиями самого Глинки: «битвы и походы», увлечение сентиментальным романтизмом, преклонение перед античной древностью и перед родиной гениального несчастливца Тассо, апология Руссо естественного состояния «детей природы», пробуждение гражданских чувств и борьба с «дерзким пороком», и, наконец, жизнь на Севере и религиозное самоотречение.

За обычной сюжетной схемой романтической поэмы мы находим новые настроения и чувства, явившиеся в результате моральной депрессии ссыльного поэта и наступившей общественной реакции. Если поэты-декабристы и Пушкин в годы общего увлечения свободолобием видели в байронизме обоснование романтического бунта во имя свободы человеческой личности, то в поэмах Глинки байронизм лишился прежнего содержания, выцвели и вылиняли политические краски того романтизма, который, по словам поэта Вяземского, будил «энергию души» и отсвечивал «благородным негодованием». Не следует забывать, что «северные» поэмы, в отличие от «южных» поэм Пушкина и украинских поэм Рылеева, создавались на «бесплодной почве», в годы общественного безразличия, после неудавшегося декабрьского восстания. В эти годы авторитет Жуковского, «добротного мечтателя» и певца меланхолической скорби, снова возрос. Жуковский освещал путь к примирению с действительностью. На этот путь постепенно встает Глинка, забывая свои прежние мечты и помыслы; «северные» поэмы отражают именно этот процесс идейного разоружения, который в литературе выразился в переходе от байронизма к «любомудрию», к романтизму, лишенному героических черт, созерцательно-

успокоенному, ищущему во внутренней жизни решения тех задач, которые непосильны для жизни реальной и практической. Отличие «северных» поэм от других поэм сентиментально-романтической традиции («Чернец» Козлова, особенно «Див и Пери» Подолинского) состоит в том, что Глинка все же являлся когда-то поклонником воинствующего романтизма и байронизма. Кроме того, они были написаны политическим ссыльным, который, оглядываясь на пройденный путь, переоценивал свои идеалы и возмещал их новыми. Автору республиканской трагедии «Вельзен, или освобожденная Голландия», гражданских од и элегических псалмов пришлось пережить сложную духовную драму. В Петропавловской крепости и в ссылке в Петрозаводске Глинка написал целый цикл лирических стихотворений, посвященных изображению скорбных переживаний — «сиротины на чужбине». В лирических медитациях и элегических псалмах эпохи суда и ссылки слышится ропот на несправедливый суд и гонения, потом мольбы о прощении, и, наконец, безысходная грусть и тоска. Тему о ссыльном Глинка пронес через все годы олонецкого изгнания. В поэме «Карелия» Глинка закончил грустную повесть о знакомом «незнакомце», о политическом ссыльном. Глинка заставил своего отшельника произносить духовные речи, полные горестного отчаяния. Фактически «северные» поэмы означают отказ от революционной романтики и гражданской патетики, переход от Байрона к Шатобриану. Религиозно-нравственные искания отшельника выросли на почве крушения идей декабризма, в годы пониженного общественного настроения. В поэме «Карелия» мы не найдем ни страстного революционного монолога, ни активного бунта во имя защиты человеческой личности. В обрисовке монаха-отшельника Глинка исходил из личных настроений и переживаний, облакая свои мысли в обычную форму «духовной» поэзии.

«По всему видно, что сочинитель «Карелии», — писалось в «Галатее», — долго и нерассеянно беседовал с природой и книгами, со своим сердцем и умом; высокой поэзии учился он более всего у пророков и апостолов; вот почему в четвертой части разбираемого стихотворения видна необыкновенная возвышенность мыслей и глубоких чувств; многие места взяты из библии и облечены в прелестную форму русского стихотворца;

многие только и можно противопоставить стихам Державина и Ломоносова, которых, к стыду нашему, мы теперь забываем, но у которых лучше всего можно научиться высоко мыслить и сильно выражать мысли». ²⁶

Вся четвертая часть поэмы представляет собой развернутый монолог героя, духовные речи монаха-отшельника, который в своих рассуждениях о человечестве, о превратностях века и т. п. следует за 57 главой книги Иезекииля. Он говорит о кончине мира («Земля приемлет образ гроба»), обличает «нечестивцев» за их грехи («Земля развратом накалила, и грех на ней болит, как струп»), грустит о собственной судьбе («Душа моя грустит и пала в думе боязливой»). Сохраняя форму высокой библейской поэзии, пылкость и энергичность глинковского слога, духовные речи монаха-отшельника принципиально отличны от «голосистых» элегических псалмов, с которыми Глинка выступал в 20-х годах на страницах «Соревнователя». Томясь среди земной суеты, отшельник, а вместе с ним и ссыльный поэт, предаются религиозно-дидактическим рассуждениям, ищут утешения в отходе от всего земного. Духовные речи, подобно элегическим псалмам, являются искренней исповедью и воплем души поэта. Трудно в аллегориях отшельника не услышать голоса «половинного мертвеца»:

Над Кивачом, на выси дальней
Горит алмазная звезда...
Так и в душе моей печальной
Звездится радость иногда:
Но скоро дум докучных тучи
Ложатся на минутный свет:
Вот подо мной песок зыбучий
И мне в земном опоры нет!
Подай, с небес, отец, мне руку,
Меня на скользком укрепи:
Отвей, любви дыханьем, муку
И просвети в глухой степи;
Я без приюта, без вожатых:
Впотьмах, над бездной я стою!
Тут глубь, там грома перекаты —
Я твой! храни главу мою...

.....
.....

В духовные речи монаха-отшельника Глинка включает стихотворение, написанное сразу же после декабрьской трагедии, и, тем самым, окончательно сближает

героя поэмы с образом ссыльного-декабриста. Стихотворение «Ловители», напечатанное в 1826 г. в «Московском телеграфе», появилось без всяких исправлений в четвертой части поэмы, как отрывок монолога отшельника.

Лесная ночь была темна!
Теней и ужасов полна!..
Не смела выглянуть луна!
Как гроб, молчала глубина!
У них в руках была страна:
Она во власть им отдана...
И вот с арканом и ножом,
В краю, мне страннику, чужом,
Ползя изгибистым ужом,
Мне путь широкий залегли.
Меня, как птицу, стерегли.
Сердца их злобою тряслись.
Глаза отвагою зажглись;
Уж сети цепкие плелись...
В пустыне движутся скалы;
Куют, при кликах, кандалы;
И ставят с яствами столы,
Чтоб пировать промеж собой
Мою погибель, мой убой...
Я шаг вперед... остановился,
Припал, с тоской, к земле сырой,
Как нищий, богу помолился —
И страх с души моей свалился
Огромной, черною горой...
Нашла моя молитва бога,
Сошла к молящему любовь —
И агнцу бедному прорезалась дорога
Сквозь стражу гладкую волков!..

Стихотворение «Ловители» — одно из самых драматических признаний Глинки, явившихся под непосредственным впечатлением декабрьских событий. Оно содержит потрясающую картину бед и горя: «Лесная ночь» и «край чужой», «ножи» и «кандалы», «погибель» и «убой». Страх, как «черная гора», и птица, которую стерегли — все это слишком напоминает трагедийную ночь после 14 декабря. Изобразив суровую расправу над декабристами, Глинка из декабрьской трагедии сделал выводы противоположные тем, какие сделал поэт-каторжанин Одоевский. Одоевский в годы каторги не переставал верить в «земное воскресение», в «зарю пленительного счастья». В стихотворении о последней новгородской изгнаннице «Неведомая странница» поэт повторяет основной мотив знаменитого ответа на послание Пушкина. Уничтожение очагов древне-русской воль-

ности он расценивает, как временное поражение. Под стенами древнего Новгорода была задушена свобода, но бичи и темницы не уничтожили духа вольности. Дух вольности вспыхнул на Сенатской площади. И это восстание кончилось неудачей; декабристы вместо свободы «оковы обрели». Но их труд не пропал даром, «из искры возгорится пламя». Так думал поэт-каторжанин. «Неведомая странница» и «Струн вещей пламенные звуки» характеризуются одним настроением, одной верой в будущее:

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвященный наш народ
Сберется под святое знамя.

(«Струн вещей пламенные
звуки»).

Нет, веруйте в земное
воскресение:
В потомках наше пламя
оживет,
И чад моих святое поколение
Покроет Русь и процветет.

(«Неведомая странница»)

Одоевский смотрел вдаль. Это был поэт революционной перспективы. И за затворами тюрьмы он не оказался в плену пессимизма. Он понимал, что придут новые поколения, которые «зажгут лучом своим дум высоких песнопенье». В 1829 г. Одоевский пишет «Элегию», посвященную В. И. Ланской, и здесь он по примеру Рылеева посылает упрек тому, кто «в постыдной праздности влачит свой век молодой» и «не готовится для будущей борьбы». Поэт-каторжанин осуждает унывающих, ропщущих на свою судьбу, потерявших веру в будущее. Свой взгляд на современность поэт увязывает в философской «элегии» с общей концепцией исторического процесса. Несмотря на гибель «тысячи племен», несмотря на «обширные гробницы», жизнь не стоит на одном месте. Понимая жизнь и смерть, как две стороны одного и того же процесса, Одоевский историю человечества рассматривает как восходящее движение со ступени на ступень.

Но вечен — род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья:
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремч,
Как дар, без цели донесут

И бросят путники земные...
Без цели!.. Кто мне даст ответ?
Но в нас порывы есть святые,
И чувства жар, и мыслей свет,
Высоких мыслей достойные!..
В лазурь небес восходит зданье:
Оно незримо, каждый день
Трудами возрастает века;
Но со ступени на ступень
Века возводят человека.

Этот принцип восходящего развития Одоевский переносит на характеристику явлений общественной и социальной жизни. Его не смущают «обширные гробницы», тени своих друзей и собственная участь, так как он чувствует твердую поступь новых поколений, которые заменят «из цепи выпавшие звенья». И если в новом поколении найдутся люди без дум и без цели, то найдутся и бесстрашные борцы, которые зажгут «чувства жар и мыслей свет». О поэзии Одоевского можно сказать словами самого поэта:

В нас будит он всю грусть минувших мук,
Всю цепь возвышенных мечтаний.

Поэт декабристской каторги и декабристских скорбей, — он же поэт декабристских радостей, надежд и мечтаний. Исторический оптимизм, трезвое понимание законов социальной жизни и вера в будущее сближают этого поэта-узника с поэзией Лермонтова и Огарева. После встречи с Одоевским Огарев скажет: «Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь». Огарев в мученике-декабристе узнал своего брата по судьбе, своего предшественника.

Иным путем развивался Глинка. В поэме «Карелия» олонецкий ссыльный скажет о себе:

Остался он с своей Карелой,
Но уж с тех пор он стал не тем!
Он созерцания путем
Взошел на высшие ступени.

На высшие ступени человеческого бытия, по мнению поэта, поднялся монах-отшельник, смилив себя веригою. Психологическое состояние монаха-отшельника («Карелия») и лесного жителя («Дева Карельских лесов»)

передает настроение поэта-изгнанника, который пережил вольнолюбивые идеалы и в годы олонецкой ссылки переоценивает свои прежние убеждения и свое прежнее поведение. Как и в годы декабристского движения, отличавшийся от своих «буйных сообщников» умеренностью политических взглядов, Глинка после 14 декабря не пошел вместе с Александром Одоевским и Кюхельбекером. Если Одоевский в годы каторги и ссылки продолжал литературное дело Рылеева, то Глинка пересматривал традиции декабристской поэзии и отказывался следовать по прежнему пути героической гражданственности. Не к Огареву и Лермонтову, а к идеалистическому романтизму Любоумров фактически развивалось его поэтическое сознание. Глинка не мог, подобно Одоевскому, сказать «И пламя вновь зажжем свободы». Автор «Карелии» считал, что за кровь «нельзя воздавать кровью». Расхождение между Глинкой и декабристами, готовившимися к активной деятельности, наметилось еще до трагического 14 декабря. За три дня до декабрьских событий Александр Бестужев говорил ему: «Ну вот и приспевает время». Глинка отвечал ему на это: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». В годы олонецкой ссылки идейным образцом для Глинки был не поэт-гражданин и тем более не декабрист-заговорщик, а монах-отшельник, который высказал «тоскливую тревогу за человечество». «В его понятии,— признавался Глинка о своем герое, — протекшее, настоящее и будущее как будто слилось в какое-то неопределенное время». Точнее, монах-отшельник связывает прошедшее с настоящим и говорит о неизвестном будущем. Поведение монаха-отшельника «в такое время и при некоторой внутренней распри» и есть поведение Глинки после декабрьской «распри». В условиях торжествующей реакции политические взгляды Глинки эволюционизировали к чисто умозрительному противопоставлению «добра» и «зла», к философскому смирению и неопределенности идеала. Монах-отшельник, бежавший, подобно Рене Шатобриана, из мира страстей и светской суеты к простым людям, а потом удалившийся в уединение, рассказывает историю своих страданий, ищет утешения в религии, говорит о тленности и суетности всего земного, признает благотворительное действие христианства на человеческую душу, считает страдание и терпение уделом челове-

ского бытия. Возвышенные речи монаха-отшельника о святости небесного могли удовлетворить только любознательных и ранних славянофилов. Неслучайно М. П. Погодин «Карелию» назвал «Илиадою» и указал на духовные речи, которые «возвышают душу». В феврале 1830 г. М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву: «Федор Глинка издал «Карелию», стихотворение в негодной рамке; но там есть духовные речи монаха — возвышают душу, прекрасны и без прежних его неровностей и невыдержанностей. Илиада вышла. Труд почетный, но не последний».²⁷

А. С. Пушкин в своей рецензии, напротив, обратил внимание не на духовные речи монаха-отшельника, а на описательные картины, на свежесть пейзажной живости, на изображение мифологии и быта Карелии, на энергичный и пылкий, хотя и неровный, стих Глинки.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ТЕМА И СТИЛЬ „СЕВЕРНЫХ ПОЭМ“

Нет сомнения, что по линии фабульных замыслов Глинка является в своих поэмах отступником того высокого и напряженного строя, которым держались в их лучшую пору русские байронические поэмы и поэмы декабристов — эти два явления зачастую переkreщаются друг с другом, или даже сливаются друг с другом. Но была область, где высокие традиции русского героического романтизма и декабризма Глинка стихийным образом сохранил, и, очевидно, не мог не сохранить. Когда идеология поколения подвергается кризису, когда происходит ее пересмотр, то очень часто он не касается наиболее общих основ этой идеологии, с которыми носители ее сжились так, что основы эти неотделимы от их сознания. Глинка мог усомниться в практической силе отдельной личности, протестующе настроенной против господствующего режима, он мог остаться на полном бездорожье, когда принимался размышлять — какими средствами следует продолжать политическую борьбу на ближайшие годы и десятилетия; но были такие области, где старая идеология 14 декабря попрежнему имела полную власть над Глинкой. И можно утверждать, что декабризм живет дальше, переживает свой разгром и развивается не только в таких твердо и сознательно-верных своих сторонниках как Александр Одоевский или Кюхельбекер, но и в Федоре Глинке, несмотря на все его сомнения и на всю его уступчивость внешней силе, поборовшей героев Се-

натской площади. Это переживание декабризма в сознании Глинки имеет первостепенное значение для всего поэтического творчества Глинки в период его карельской ссылки.

Глинка полностью сберег патриотизм декабристов, их жаркую любовь к России, их желание величайшего блага, их надежду на нее. Патриотизм — чрезвычайно важный мотив идеологии декабристов. Доброй своей частью поэзия Рылеева есть не что иное, как патриотическая проповедь и патриотическое назидание. Крайне знаменательно, что правительство Николая Первого, вынужденное насаждать официальный патриотизм, в то же время относилось весьма подозрительно к какой бы то ни было патриотической идеологии, идущей от общества, и еще в 1847 г. предписано было цензуре бороться «со стремлением некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма общего или провинциального, стремлением, становящимся иногда если не опасным, то по крайней мере неблагоприятным по тем последствиям, какие оно может иметь». С этими «необузданными порывами патриотизма» правительство впервые столкнулось тогда, когда оно стало чинить расправу над декабристами и подвергло полицейскому разбору их дела и убеждения.

Местная тема оказалась столь привлекающей для автора поэмы «Карелия» потому, что она была для него живой частью великой и нескончаемой темы о родине. Вдуматься в прошлое Карелии, проникнуться характером страны, сжиться с ее пейзажем, значило для Глинки войти в поэтическое общение еще с одним уголком родной земли, и он бросился в это дело с воодушевлением. Поэма Глинки являет собой не совсем обычное зрелище. Вот поэма, где рассказ о людях довольно вял, где исповеди людей, где их душевные признания не способны нас тронуть, но где с великим подъемом проведены все описания, где больше страсти и лирики в пейзаже, чем в человеческих излияниях, где даже подлинный драматизм переселился в пейзаж и во все описательные подробности. Пейзаж у Глинки питается старым жаром поэта-декабриста, сподвижника молодого Пушкина времени байронических поэм; скрытая основа всей описательной части — патриотический энтузиазм Пушкина и Рылеева, и поэтому описания у Глинки имеют такую яркую жизнь и силу. Энтузиазм

романтика 20-х годов подвергся ревизии в фабуле поэмы, но он еще не тронут и цел в ее описательных мотивах. Байроническая поэма на русской почве прошла через своеобразную переработку. У самого Байрона его поэмы по темам своим экзотичны, они касаются Испании, Ближнего Востока, Италии. У русских поэтов, возбужденных примером Байрона, действие всегда приурочено к родной стране — в этом, и чрезвычайно важном, отношении они не следуют Байрону. Внутри своей страны они ищут для себя поэтических тем и местных красок, отказываясь, в отличие от Байрона, от поэтических путешествий в чужие края. Орест Сомов, один из теоретиков русского романтизма в 20-х годах, возвел эту своего рода поэтическую географию родной страны в один из важнейших принципов романтической программы. Он приглашал русских писателей «окинуть взором края России, обитаемые пылкими поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями средней Колхиды, потомками переселенцев, видевших Овидия, остатками некогда грозных России татар, многоразличными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапонцами и самоедами». ²⁸

В значительной степени пожелания Сомова были осуществлены нашими поэтами-байронистами. В монографии В. М. Жирмунского «Пушкин и Байрон» дается целый перечень таких байронических поэм, возникших на местных материалах и культивировавших местную тему. «Рядом с обеими столицами представлена и провинция. Из Оренбурга присылает своего «Абдрахмана» рано умерший П. Кудряшев, «певец картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей Киргизкайсацких...», в Одессе печатаются И. Косяровский («Переметчик» 1832), А. Ашик, пользующийся более почетной известностью как археолог («Изменница» 1837), Н. Гербановский («Хаджибей» 1838 и историческая поэма «Вала Алба или Белая Долина» 1838), в Харькове — П. Иноземцев («Ссылный» 1833, «Зальмара» 1837); в Казани — поэтесса Александра Фукс («Основание Казани» 1836, «Княжна Хабиба» 1842); в Варшаве — А. Алексеев («Мельдона» 1841); в Вильне — М. Горев («Багир-Хан» 1842) и неизвестный П. К. («Мария» 1835)». ²⁹

Разумеется, всему этому предшествовал могучий пример Пушкина — «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» были первыми образчиками этой поэзии, вызванной из местных условий родной страны, из ее этнического богатства, из ее бесконечных пространств. Пушкин подсказал, что можно быть поэтом даже оставаясь дома у себя в провинции, что русские местности располагают материалом для высоких произведений; по почину Пушкина проснулись все эти бесчисленные лирики и сочинители поэм в Минске, Казани и Оренбурге. Карельские поэмы Глинки неотъемлемы от этого общего фона, но, без сомнения, они очень выгодно выделяются среди байронических поэм русской провинции. Глинка принес в свои поэмы отнюдь не провинциальный только опыт, у него был подготовлен богатый вклад чувств и убеждений для его карельских поэм. Провинциальная тема у него была одухотворена силами гражданского патриотизма и народности, и в этом отношении настоящая среда Глинки — не те часто внешние и мало оригинальные русские байронисты, которых так много было и в 20-х, 30-х и в 40-х годах, но его прежние единомышленники по декабристскому движению, мечтающие и в тюрьмах и в ссылке о большой национально-патриотической поэзии, которую они не успели осуществить на воле, и пытающиеся в меру своих сил сделать все нужное и возможное для нее, находясь в заключении. Кюхельбекер из Свеаборгской крепости писал в 1834 г. Николаю Глинке, своему племяннику: «Конечно, лучше бы всего было, если бы создалась у нас поэзия истинно-народная. Но я лишен всех средств действовать развитию сей поэзии. Иное дело, — если когда-нибудь буду с братом в Сибири: тогда — буде только огонь мой не совсем погаснет, даю тебе слово вслушиваться во все истинно-русское, местные и общие предания (курсив мой, В. Б.), сказки, песни, ловить и тщательно сберегать всякую черту народного характера». ³⁰ Написанная Кюхельбекером «Песня лопаря» — это как бы сдержанное обещание, практический опыт местной поэзии. Бестужев-Марлинский пишет в ссылке «Якутскую балладу», Одоевский — стихотворение «Река Усьма». Карельские поэмы Глинки принадлежат к этому ряду.

Замечательно, что в поэме «Карелия», где главный герой — человек, нашедший смысл жизни в отвлеченном

религиозном созерцании, все описательные части характера такого бездейственного созерцания лишены. Пейзаж у Глинки проникнут темами цивилизации, бодрой и производительной. В сюжете обеих поэм Глинка отдает дань сентиментальному руссоизму, для Глинки есть прелесть и достоинство в этой жизни лесных робинзонов, которую ведут «дева карельских лесов» и ее родитель, в поэме «Карелия» малолюдный Север — это приманчивое место для человека, который полностью изведаль жизнь больших городов Запада. Но когда Глинка непосредственно отдается лирике природы, то тут является вся его застарелая стихийная любовь к цивилизации. Ему удастся сплавить в одно природу и цивилизацию, дать их совместно-нераздельный образ, как это было свойственно старым русским поэтам, когда они отстраняли рефлексю о «прелестях натуры» и пагубности «искусства», — разумея под «искусством» цивилизованный быт. Есть строки, в которых Глинка прямо-таки великолепен, где пейзаж у него истинно поэтическим способом вбирает в себя человека и его труд, его промышленную деятельность, или, вернее говоря, где человеку и его труду подчинен прекрасный живой материал силы и стихии природы.

Над Выгом зарево горит!
То, знать, пожар?.. Иль блеск зарницы?..
Подъедем ближе — все шумит:
Там плавают медь, варганят крицы.
И горен день и ночь кипит;
И мех вздувает надувальный;
И, раз под раз, подъямлясь в лад,
Стучит и бьет за млатом млат
По ребрам звонкой наковальни...
Там много их... то кузнецы,
Потомки белоглазой Чуди.

К слову «крицы» Глинка делает инженерно-технологическое примечание: «Крицами называются железные комы; их составляют посредством биения молотом из брусков, называемых свинками. На сибирских заводах говорят: «варганить крицы». По поводу кузнецов из Чуди Глинка сообщает в своих примечаниях, что в Олонецком крае обрабатываются богатые жилы руд, там находящиеся, что лесные жители вываривают уклад — род стали — и делают из него косы, трпоры, серпы, чем и торгуют «по соседственным ярмаркам».

Замечательно, как все эти подробности экономики и технологии растворены в стихе Глинки, как они становятся неотделимы от собственной жизни, этому стиху свойственной. Обычная для поэзии образность — космическая — здесь поглощает более специальную и как будто бы прозаическую гему человеческого труда и производства, не совсем обычную для поэзии. Пожар и зарево промышленного труда представлены так, как если бы это были огонь и свет, исходящие из самой природы: «Над Выгом зарево горит!» Ни отдельных человеческих фигур, ни отдельных процессов работы мы не видим в описаниях Глинки; все слито в один общий стихийный порыв, как если бы это работала сама природа, и это был шум и гром ей самой свойственный. И через всю эту картину лесного труда идет, пронизывая каждую подробность ее, каждое слово о ней, бодрая и повышено-звучная фонетика «р» и «л» — сонорные вторят друг другу из строки в строку, иногда эти звуки скопляются, плотно придвигаясь друг к другу: «раз под раз», «за млатом млат». Глинка сам признается в поэме в том, что он пристрастен к этим звукам:

Но сладок у лесной Карелы
Её бесписьменный язык;
Казалось, я переселился
В края Авсонии опять:
И мне хотелось повторять
Их речь: в ней слух мой веселился
Игрою звонкой буквы Л.

И вот «звуки Авсонии», звуки отборной поэтической речи проникают у Глинки картину тяжелого промышленного труда лесных людей, претворяя этот труд в прекрасное поэтическое явление. Фонетика стиха у Глинки сближает друг с другом понятия, из которых одни могли бы казаться исключительно поэтическими, другие же — мало причастными к поэзии. Над Выгом зарево горит», «Выг», географический термин, отражен в звуках «космических слов» — «зарево горит». В рифмах сближены «зарницы» и взятые из примитивной инженерии, специально разъясненные Глинкой «крицы». Иногда в рифму попадают подряд два как будто бы будничных, трудовых, производственных слова — «надувальный», «наковальни», и рифма, высекая из них тождественные звуки, подчеркивая и это звонкое «л» и

другие звонкие гласные, преобразует эти слова и эти понятия, жалует им поэтическое достоинство.

Далее поэма Глинки спускается в область еще более низкую по обычным представлениям условных поэтик,— в область обмена и рынка:

Однако ж, звонкий свой товар,
Добытый в долгие досуги,
Они отвозят на базар,
Лесным путем, к погостам Шунги,
Там ярмарка. Там все пестро
И все живет: там торг богатый
Берет уклад на серебро;
И мчит туда олень рогатый
Лапландца с ношею мехов;
На ленты, зеркальцы, монисты,
У жен лесных кареляков,
Меняют жемчуг их зернистый
Новгородцы-торгаши:
И в их лубочны шалашы
Несут и выдру, и куницу,
И черную лисицу...

И здесь Глинка трактует хозяйственную деятельность людей в духе поэзии, то придавая музыкальные эпитеты предметам торгова — «звонкий свой товар», то олицетворяя самый торг, превращая его в пышный поэтический троп — «Там торг богатый берет уклад на серебро», то рассыпая картину ярмарки на множество живописных подробностей и заканчивая свой живописный перечень полногласной, играющей красками строкой — «и черную лисицу»...

Пейзаж и в последующих частях поэмы для Глинки слит с его значением для человека и человеческой практики; природа, цивилизация, хозяйство образуют в поэтическом сознании Глинки единство.

В Кареле рано, над лесами,
Сребро и бисеры блестят
И с желтым золотом, полссами,
Оттенки алые горят,
И тихо озера лежат
На рудяных своих постелях.

В примечании к этим стихам говорится: «Ложе или дно здешних озер состоит почти всегда из железной руды, которую добывают отсюда особыми черпалами». Так пышный поэтический образ покоится у Глинки на

скромных, но многозначительных народнохозяйственных сведениях.

Карелию, карельскую природу Глинка видит не как явление замкнутое в самом себе. Карелия для Глинки — это некое человеческое богатство в будущем, и этот клад — «рудяные постели» ждут рабочей руки, которая взялась бы за них должным образом. Природа рисуется у Глинки с точки зрения поэта-патриота, а не поэта, который созерцает ее праздно, вне всякого отношения к гражданской мысли и к гражданским переживаниям.

Глинка отнюдь не желает, чтобы Карелия в его поэме прослыла пустыней, диким севером, захолустьем, хотя он и говорит: «Дика Карелия, дика!». В его поэме характерным для поэта-декабриста образом русский патриотизм сочетается с европеизмом. Глинка желает, чтобы родная страна не оставалась явлением национальной экзотики, он ее придвигает к Европе, к большому цивилизованному миру. Надо думать, что и этот пейзаж поэмы Глинки есть как бы внутренний тайный спор против экзотики — в описаниях Глинки Карелия с ее природой пробуждена к деятельной жизни всечеловеческой цивилизации. В этой связи получает особый дополнительный смысл — мы бы сказали «стилистический» смысл, и один из важнейших мотивов фабулы: герой поэмы — западный человек, знающий города Малой Азии, воспитанный Италией, ученый ценитель античных поэтов, перенесен Глинкой в карельские снега, сделан собеседником карельской заточницы для того, чтобы распространился в поэме свет всемирной культуры, для того, чтобы на образ Карелии с ее лесами и озерами пали оттенки универсальной культуры человеческого рода. Фигуру отшельника Глинка вводит с тем, чтобы сдружить образ России, образ российской окраины с образом европейского Запада, устранить чуждость между ними, указать на равенство между этими национально-историческими силами, не снимающее нисколько своеобразия каждой из них.

Стих поэмы Глинки, так же как характер и стиль ее описаний, является переживанием героического романтизма. В стихе нет ничего элегически-медитативного, хотя фабула и клонит в эту сторону. Общий размах стиха Глинки и здесь — державинский. Влияние Державина неслучайно для поэта-декабриста. Рылеев ставил

себя под покровительство державинской поэзии. Дума о Державине у Рылеева кончается таким апофеозом:

Парил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалил в младых сердцах
К общественному благу ревность!

Державин для поколения декабристов — великий поэт гражданственности, поэзия его — образец дельности, мужественности и энергии. У Глинки в поэме от Державина взят неровный поэтический слог, с дерзкими переборами и сбоями, от Державина преувеличенная звучность, насыщенность оптическими образами, дерзкие переходы, намеренная неотесанность, «дикость» выражения. Это активный стих — он не баюкает и не ласкает слуха, он требует духовного бдения от того, кто его воспринимает, и самонаслаждение, доставляемое этим стихом — активное, оно заключается в высшем напряжении наших чувств, в том, что глаз и ухо должны приноровить себя к впечатлениям чрезвычайно интенсивным, перешедшим за черту всего повседневно-переживаемого нами. Еще раз напомним суждение Глинки о природе стихотворного ритма: «если стихи, как обертку мыслей, можно сравнить с тканью, то в ямбах сия ткань плотнее, гуще и потому надежнее удерживает мысль и чувство; хореи как-то сквозны, сетчатые, и мысли в них не довольно остепенены» (письмо к А. А. Ивановскому от 1827 г. цитировалось выше). «Карелию» Глинка пишет излюбленным своим четырехстопным ямбом, — «плотным, густым, остепененным». Для Глинки особое значение имеет краткость четырехстопной строки, из нее поэт извлекает двойной эффект. Когда он хочет, стих приобретает особую беглость, быстроту, стремительность; но краткая строка не слишком вместительна, в нее укладываются считанные слова, они все на виду, теснят друг друга, — не это ли имел в виду Глинка, когда говорил о «плотном слоге» и «густоте» стихотворной ткани? Стих Глинки действует двояко — он берет широкий разбег, он свергается со строки на строку, и тут же сказываются силы, тормозящие его — стих этот до глубины природы своей динамичен, он имеет дело с сильными препятствиями, он побеждает их, но препятствия снова растут, и стих снова вступает в единоборство с ними. Невместительность строки ведет к тому,

что очень часто она не способна заключить в свои границы сколько-нибудь законченные, синтаксические целые; отдельные слова, и группы слов отрываются, скатываются из одной строки в следующую (т. е. образуется так называемый «перенос»), и этим создаются в ритмической ткани рубцы, часто тяжелые и ощутимые. Какие-то куски фраз, сами по себе не осмысленные, заполняют целые стиховые строки; в таких случаях нужно искать связь, и это искание смысловой синтаксической связи, часто трудное и медленное, дробит течение стиха, создает свои членения, которые с ритмическими членениями не совпадают:

...Но бросил скоро он войну
На зов семьи. С душою гладной
От славы, часто безотрадной,
Он возвратился в тишину,
На родину. Богат и молод,
Искал он пищу для души,
Искал, желал; один в тиши
Любил мечтать, но чувства холод...

В этих строчках ритм спотыкается непрерывно, и самые эти перебои ритма настолько закономерны, что как бы сами образуют свой особый ритмический ход.

Характерный прием Глинки — ввод в стих многочисленных, многосоставных, а то и трудно произносимых слов, незнакомых, впервые читателю в этих стихах представившихся и поэтому выговариваемых осторожно и неуверенно. Любовь к сложным, громоздким словам — чисто державинская:

Или встречались на мхах
С ветвисторогою станицей...
И ясный, как святое чувство
Самодовольственной души...
Потомки белоглазой Чуди...
Они не злобны — эти люди!
Великорослые жильцы
Пустынь...
И недоконченный рассказ
Толвуозерского монаха...
...Мне быт у них
Патриархальный — был по нраву...
В лесах свирепствовал пожар,
В Кариоландии горело...

И благоданным ароматом
Облаговонила земля...

Уж близок день, уж близок день
Твоей непотемнимой славы:
И праздную заветный пир
В моей душе уступенной...

Ритм вынужден как бы пробиваться сквозь эти слова, эти слова лежат в стихах подобные завалам, и когда они все же взяты ритмом, когда ритм, задерживаемый ими, снова освобождается, то мы ощущаем это как счастливую развязку. Глинка не из тех поэтов, которые любят благополучный ритм, он из ритма делает настоящую драму, борьбу звуков и слов. Фонетическая окраска стиха у Глинки тоже густая, как Державин, он любит цельность звука, осязаемость его.

И от озер студеным веет...
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае по утрам
Блестит серебро мороза...

Любопытно, что словами описания говорится о бедности — «бедна карельская береза», а вся оркестровка строк на раскатистое «р» одевает пейзаж пышностью и богатством. То же самое:

Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал...

«Бедные» подробности, убогий скудный пейзаж для Глинки только частности. Он привык в мире и в природе видеть энергию и непочатое богатство, — державинское видение богатства всюду его преследует, и стиховой стиль Глинки организован как бы навстречу этой мощи и этих бесценных даров, которые может предложить поэзии природа, бледная и слабая только по исключению.

Но живописна ваша осень
Страны Карелии пустой:
С своей палитры, дивной кистью,
Неизъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь и яхонт и рубин
Горят на сих древесных купах,
И кудри алые рябин

Висят на мраморных уступах
И вот, меж каменных громад,
Порой я слышу шорох стад,
Бродящих лесовой тропею.
И под рогатой головою
Привески звонкие брячат.

Вот стихи, где излюбленная Глинкой торжественная фонетика вступает в полное согласие с тем, что дает зрительный, мыслимый образ: пышные цвета осеннего пейзажа сливаются воедино с трубными звуками этих стихов, и звук и образы возвышаются до последней своей — державинской — красоты и интенсивности. В этой красоте — тоже по-державински — все и пышно и просто, здесь и такое словечко, как «малюет», рядом со «золотой», и здесь рябина дается как образ неслыханного красочного богатства, и «привески звонкие» под «рогатой головою», среди «каменных громад», звучат («брячат») необыкновенно высоко.

Показательно, что к описательной части поэмы, к стиху ее притягивалось внимание всех современных критиков, писавших о «Карелии». И это, потому, что стихи описания затмевали для них остальное содержание поэмы. На первом месте следует, разумеется, поставить отзыв Пушкина о поэме Глинки. Пушкин говорит о языке Глинки, о его стихе, и затем — особая форма критики — предлагает несколько выписок из поэмы; выписано все, что Пушкин считал лучшим. Пушкин находил в поэме «Карелия» отражение всех достоинств и недостатков поэтического стиля Глинки. Отмечая самобытность таланта, Пушкин указывает на некоторую парадоксальность глинковского стиля: «Необыкновенность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи».

«Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, — писал Пушкин, — может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете

Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, — все дает особенную печать его произведениям. Поэма «Карелия» служит подкреплением сего мнения. В ней, как в зеркале, видны достоинства и недостатки нашего поэта». ³¹

Пушкин имел полное основание говорить о самобытности дарования Глинки и оригинальности его поэмы. Считая наиболее удачными описательные картины, посвященные изображению величественной природы Карелии, Пушкин в своей рецензии процитировал следующие отрывки: «В страну сию пришел я летом», «Дика Карелия, дика!», «Край этот мне казался дик», «Сии места я рассмотрел», «Здесь поздно настает весна», «По Суне плыли наши челны», «Кивач... Кивач!... Ответствуй, ты ли?» и «В тех горах живут селениями духи». Выбор Пушкина знаменателен — все религиозно-сентиментальное, все, что связано с поэтическим и назидательным сюжетом Пушкин пропустил в своей рецензии или — пощадил. Едва ли хоть один действительно сильный эпизод поэмы укрылся от внимания Пушкина.

Глинка считал отзыв Пушкина самой справедливой характеристикой его дарования.

«Я никогда ни у кого не брал, даже не занимал, не подражал иностранным поэмам, — признавался Глинка в одном из своих писем. ³² — Хотите ль на это доказательства? Разверните «Северные цветы» Дельвига, примените рецензию Пушкина на мою «Карелию», и вы прочтете (слова Пушкина): «Все мы, кто более, кто менее, придерживались то той, то другой школы, подражали, брали то у французов, то у немцев, то у Байрона. Ф. Н. Глинка не держался никакой школы, не подражал немцам, не занимал у англичан. Вот почему, не обинуясь, мы назовем его поэтом оригинальным». После этой рецензии он озолотил мрак моего уединения приятным письмом, в котором сказал еще более».*

* Глинка на память передает содержание пушкинской рецензии, причем ошибочно считает, что рецензия была напечатана в «Северных цветах». В «Северных цветах» на 1831 г. (стр. 44—45) была

Рецензия Пушкина о поэме Глинки появилась в «Литературной газете», 1830 г. № 10, а в № 7 той же газеты в отделе «Смесь» предварительно сообщалось о ближайшем выходе в свет «описательного стихотворения» Федора Глинки.

«К концу сего месяца, — говорилось в «Литературной газете», — отпечатается: Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой, описательное стихотворение Ф. Н. Глинки, в четырех частях или песнях. В рамке исторического события поэт изобразил предания и поверия лесной Карелы. Четыре сказки о витязе Заонеге, помещенные в 3-й части, носят на себе общую печать русских народных сказок, чудесные в подвигах и богатырских встречах. Но более всего читателям понравится в Карелии местность тамошнего края, изображенная во всей дикой красоте. Примечания о нравах, обычаях, поверьях карелов и пр. и пр. также весьма любопытны.»³³

Не лишена возможность, что и эта заметка принадлежит Пушкину, который читал поэму в корректуре и по просьбе Ореста Сомова заблаговременно готовил рецензию на нее в «Литературную газету». Подобно тому, как Глинка в свое время приветствовал «молодого певца», сосланного Александром I на юг, Пушкин теперь

напечатана рецензия Ореста Сомова на поэму «Карелия». Рецензия Пушкина печаталась в «Литературной газете», 1830 г. (№ 10, стр. 48). Письмо Глинки представляет собою черновик, без указания адресата и даты написания. Не лишена возможность, что оно является черновиком известного письма Ф. Н. Глинки к П. К. Шибальскому, где содержится та же ошибка. В письме к П. К. Шибальскому Глинка приписывает рецензию в «Северных цветах» А. С. Пушкину:

«Милостивый государь Петр Карлович! — писал Глинка. — Письмо Ваше любезное, обаятельное письмо, уяснило и дополнило статью Вашу. Давно не слыхал я приветного слова из современного литературного мира. Оно, может быть, так и должно быть: прочитанный листок газеты, карта, битая банкометом на игорном столе, бросаются просто под стол. — Нынче все прошедшее называют отжившим, хотя, может быть, оно и далеко еще не лишено жизни. Но Вы смотрите на все иначе; даже и в том, что мне самому казалось увядшим, сумели Вы найти довольно свежести. Зато и статья и письмо Ваше напомнили мне о той рецензии о моей поэме «Карелия», которую написал и напечатал (в «Северных цветах» тридцатых годов) незабвенный Пушкин. Та — в Петрозаводске, Ваша — в Твери доставили мне истинное удовольствие». («Пушкин и его современники», т. VIII, изд. Академии Наук СССР, 1927, стр. 84—85).

приветствовал поэму «Карелия» и вместе с ней ссыльного поэта, заброшенного Николаем I в глухую Олонию.

Мнение Пушкина нашло широкое подтверждение в критике 30-х годов, единодушно отметившей положительное значение поэмы «Карелия». Просматривая обзоры и рецензии в журналах 30-х годов («Северный Меркурий», «Карманная книжка» Олина, «Денница», «Московский вестник» и др.), нетрудно убедиться, что пушкинская рецензия определила мнение многих рецензентов, писавших о «Карелии». А. Воейков, например, ограничился тем, что в № 46 «Русского инвалида» (от 19 февраля 1830 г.) перепечатал отзыв Пушкина, сократив цитаты из поэмы. С мнением «Литературной газеты» солидаризовалась «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности» В. Н. Олина, отмечавшая, вслед за Пушкиным, что «из всех наших поэтов, он (Глинка — В. Б.), может быть, есть самый оригинальный, что поэма Карелия служит новым ему доказательством, и что в ней, как в зеркале, видим все его достоинства и вместе все его недостатки».³⁴ Ф. Н. Глинка, — писал В. Раич в «Отечественных записках», — принадлежит весьма к малому числу наших поэтов. Его муза облачается в особенную одежду, говорит языком особенным, и своенравная в своих поступках, безотчетливая, она не следует ходу подражания, но проложила себе дорогу отдельную, не придерживаясь ни французского классицизма, ни новейшего романтизма. . . Приводимая мифология карельцев любопытна, а более того занимательна по сатирическим оборотам и намекам. — Четыре сказки о витязе Заонеге носят общую печать русских народных сказок: чудесное в подвигах и богатырских встречах, язык чист и плавен, но вообще имеет особенную какую-то печать, нет в нем ни германской легкости Жуковского, ни постепенности живописного Пушкина. Ф. Н. Глинка, подобно кн. Вяземскому, Языкову и Батюшкову — оригинален, напечатлен, так сказать, свыше каким-то дивным отличием!»³⁵.

Справедливую оценку поэмы дал Орест Сомов в «Северных цветах»: «Событие, заимствованное из истории, служило ему только рамами для поэмы описательной. Прекрасная в своей дикости природа Карелии, с ее чудными водопадами, с ее дремучими лесами, несчетными озерами и тундрами, изображена в картине великолеп-

ной, верной, заманчивой своим разнообразием. Одно из вводных лиц, — назидательный собеседник знаменитой заточницы, Марфы Ивановны, рассказывает ей свою повесть, в которой поэт искусно совокупил с превращениями жизни инока набожные свои мечтания и восторги духовные, излитые в лирических отрывках. Нравы лесной Карелы, ее предания и поверья, духи, населяющие ее северные пустыни, народные сказки ее — все это набросано кистью смелую и пленяет теплотою красок, которую отличают произведения нашего поэта-живописца». ³⁶ Восторженно встретил поэму «Карелия» «Северный Меркурий». В этом журнале Глинка назывался «народным поэтом», а его поэма, при всех ее недостатках, произведением превосходным. «Наиболее народный из русских стихотворцев — есть Ф. Н. Глинка, — писал рецензент в «Северном Меркурии». — Доброжелательная любовь к родной стране и производимая ею полнота души, тонкое чувство изящного, открывшее тайну поэзии в русской природе, в русских нравах, в политической жизни России, русский язык со всей его выразительностью, точностью, гибкостью и благозвучием — вот, по нашему мнению, отличительный характер того рода стихотворений Глинки, который ставит его, в отношении к народности, на первое место между русскими стихотворениями и делает сего поэта драгоценным достоянием России». ³⁷

Несомненно, что похвалы здесь слишком преувеличены, но сам факт восхищения «народностью» Глинки заслуживает внимания. *

Быть может, более весомой характеристикой того

* Из письма Ф. Н. Глинки к Н. И. Гнедичу от 25 июля 1830 г. видно, что поэму «Карелия» читал и одобрил Гнедич. Приводим отрывок из этого письма: «Я обрадовался еще прежде, чем начал читать, самым буквам Вашего письма, как чему-то знакомому и драгоценному. Напрасно извиняетесь в молчании! Вы действовали молча: я знаю длительное участие Ваше в моем горе. Некто бывший у превосходного Жуковского, в одно время с Вами, засвидетельствовал много письменно о том, как жарко Вы говорили в мою пользу. В Вас та же душа. Вы все тот же Николай Иванович, к которому я заезжал отогревать душу, простуженную в большом свете. Как я рад, что звуки лесной карельской свирели обратили на себя Ваше внимание, и как почту себя богатым, получив Вашу величественную Неиду: Вы наш Гомер! Живите, и живите долго, и — будь я распорядителем счастья — я бы излил его морем на голову Вашу» (письмо Ф. Н. Глинки к Н. И. Гнедичу, находится в рукописном отделении ИЛИ Академии Наук СССР).

значения, которое имела поэма Глинки для современников, следует считать не критические отзывы о ней, как бы детальны и содержательны они ни были. Мы располагаем свидетельством более существенным, чем даже отзыв Пушкина. И от Пушкина же он исходит. На этот раз перед нами не критический разбор поэмы «Карелия», а отзвук ее в самой художественной практике Пушкина, стихи из великой поэмы Пушкина «Медный всадник», параллельные рядам стихов Глинки:

Дика Карелия, дика!
Надутый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Я проходил по сим хребтам,
Зеленым дебрям и пещерам:
Везде пустыня: здесь и там
От Соломейского пролива
К семье Сьюсарских островов,
До речки, с жемчугом игривой,
До дальних северных лесов,
Нигде ни городов, ни башен
Пловец унылый не видал,
Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал;
И мертво все. ♣ пока шелейник
В Онегу, с свистом, сквозь леса
И нагло к челнам,
 как разбойник,
И рвет на соймах паруса,
Под скрипом набережных сосен.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И в даль глядел. Пред ним
 широко
Река неслася, бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

Если какая-то колонна стихов «Карелии» могла сохраниться в памяти Пушкина, когда он писал вступительные строки «Медного всадника», если какие-то строки Глинки просвечивают в строках Пушкина, то это уже очень много для поэмы Глинки, этого одного достаточно для того, чтобы поэма Глинки не была забыта нами.

РАБОТА НАД МАТЕРИАЛОМ

Общностью декабристского тяготения к «местному колориту» можно объяснить тот своеобразный жанр описательной поэмы, в котором написана поэма Рылеева «Войнаровский» и особенно «Карелия» Глинки. Рылеев при изображении Сибири использовал, как на это указывает В. И. Маслов в своей монографии «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» (Киев, 1912), — отдельные журнальные статьи, рассказывающие о народном быте и природе Сибирского края. В частности источником для начала поэмы послужила небольшая заметка, появившаяся в 1823 г. в «Благонамеренном» под названием «Письмо из Якутска».

Дорожа описательным элементом поэмы, Рылеев сознательно в язык «Войнаровского» вводил диалектизмы и этнографизмы. В результате ему пришлось составить специальный словарь, поясняющий значение местных слов и выражений:

«Юрта, жилище диких сибирских обывателей. Они бывают и зимние, подвижные и постоянные; бывают бревенчатые, берестяные, иногда войлочные и кожаные.

Ясак, подать мехами, собираемая с сибирских народов.

Даха, шуба вверх шерстью, из шкуры дикой козы.

Чебак, большая теплая шапка с ушами.

Займка, вне города место, занятое под частный дом или крестьянский двор с огородом и с другими принадлежностями; словом, русская дача или малороссийской хутор.

Пальма, так называются в Сибири длинные, широкие и толстые ножи, укрепленные наиболее в березовых, для крепости про-

копченных, ратовищах, обшитых снаружи кожей. С ними якуты, юкагиры и другие северные народы ходят на лосей, медведей, волков и проч.

Ж и р н и к — ночник с каким-нибудь маслом или жиром, за-свечиваемый на ночь».

«Южные» поэмы Пушкина и «сибирская» поэма Рыльева являлись для Глинки образцом художественного краеведения, примером поэтического и гражданского внимания петербургских поэтов к далеким и мал-известным областям обширной России. Общее родство поэм Рыльева и Глинки состоит не в отдельных совпадениях (см. изображение якутской и шуньгской ярмарок), а в одинаковом отношении к местной теме. В своих «карельских» поэмах Глинка сумел максимально усилить этнографический рисунок и развить описательный момент для больших художественных обобщений. В этой описательной направленности всего повествования состоит основная стихия «Карелии», так хорошо подмеченная передовой критикой 20-х годов и прежде всего Пушкиным. Важно, что Глинка знал Олонецкий край не только по рассказам очевидцев, но и сам наблюдал природу и народные нравы этой страны, своими глазами видел «дикую Карелию» с ее озерами и непроходимыми лесами. Многие описательные картины он срисовывал с натуры, поэтому в его поэме одна строка («отрывки пашен») дает представление о местном крае, где действительно пашни расположены между скал, висят на «мраморных уступах».

В поэме «Карелия» Глинка стремился к максимальной выразительности и точности художественного рисунка. Карельская поэма может служить прекрасным примером вдумчивой и временами кропотливой работы поэта над материалом. Каждое описание и художественная деталь осмыслены и проверены не только чувством поэта, но и опытом краеведа и этнографа. Особый интерес представляют для понимания творческой лаборатории Глинки, как автора «северных» поэм, развернутые примечания и пояснения. Поэмы Глинки — это не только «описательные стихотворения», но и своеобразный художественный справочник, маленькая энциклопедия и путеводитель по Карелии. Примечания к поэмам к тому же дают большой материал для понимания поэтического стиля Глинки, они обнаруживают непосредственную связь поэтических образов и языка поэм

с историческими, фольклорными, этнографическими и лингвистическими первоисточниками. Можно сказать, что «аппарат» к «северным» поэмам комментирует не только фактическое содержание поэм, но и их художественную форму. Глинка ссылается на исторические документы, на рукописный материал, на устные рассказы и собственные наблюдения; примечания или указывают источники, подтверждающие достоверность изображаемого явления, или поясняют отдельные слова и выражения, или сообщают ценные сведения по истории этнографии и географии Карелии, или, наконец, указывают на процесс создания того или иного образа, на его, так сказать, первооснову.

В стихотворном тексте «Девы Карельских лесов» поэт говорит, что «сей край (в быту пустынным ему и имя не дано!) лежит, как синее пятно, вдали на небосклоне длинном». Ясно, что для неискушенного взора «синее пятно» на «небосклоне длинном» мало о чем говорит. Но в этом «синем пятне» состоит своеобразие карельского пейзажа. «В окрестностях высот г. Петрозаводска, как, например, из деревни Сельга (сельга — на языке туземцев значит: распаховная гора) и с других возвышений были места лесистые, пустые, никем не обитаемые, которые синеют на горизонте длинном; ибо он, всегда почти бестуманный, открыт на большое пространство». И здесь же Глинка сообщает «забавный анекдот» «насчет крайней уединенности таких лесных пустыней», когда обитатели лесной деревеньки «весьма неловко» ошиблись в счете недель, справив масленицу во время великого поста.

К стихам «Он крыльями примерз ко льдам» Глинка приводит следующее свидетельство местного чиновника: «Один из здешних чиновников сам таким образом поймал лебедя; обеспечась красным осенним днем, лебедь расположился плавать на одном из пустынных озер, которое при внезапно переменившейся температуре (что здесь случается очень часто), вдруг начало мерзнуть, и крылатый плаватель был захвачен леденеющей поверхностью воды. В Повенецкую и Беломорскую Карелию налетает много лебедей; есть даже в Лекшморецком приходе одно озеро, названное Лебяжьим. В той стороне открыт ныне богатейший запас лиственницы».

Изображая белую ночь на Севере, Глинка употребил такое выражение:

И был лишь вечер без ночей,
Почти не гасли, не смеркались
Без звезд пустые небеса.

В примечаниях строка «И был лишь вечер без ночей» имеет следующее пояснение: «С конца апреля и в мае наступают здесь, так сказать, ночи бесконечные. Солнце почти не заходит; одна заря, как говорит народ, сменяет другую. В воздухе бывает ни темнота, ни свет, — нечто среднее. Звезд не видно, высокое небо цветом как полинялая голубая тафта; иногда является луна в виде плоского бледно-золотистого кружка. Этот полусвет, нерешительный, томный, как и в нравственном смысле всякая нерешительность, наводит уныние. Глаза, привыкшие к темноте, боятся сомкнуться. Что-то, как будто, потеряно, чего-то ожидаешь. Альфьери, известный трагик, в путешествии своем на Севере испугался сих странных ночей».

Не менее показательно описание бури на Севере:

Грянул гром

И с грохотом задребезжали
Камней обломки и стали,
И вздулись в озерах валы,
И белым стадом побежали
На дикий наволок лесной,
И хлещет на скалу волной...
Буравит вихорь берег зыбкий,
Растут в Онеге острова:
Все выше... выше их глава!
И гнется красный лес негибкий,
И ель, свидетель трех веков,
Пустынь — пирамида, с бугров
Обрушилась с ужасным треском...
Стемнелось в небе и в лесах,
И, ослепленный грозным блеском,
Боишься леший... В парусах
Куда-то, чью-то сойму мчалю,
Под пеной шумною урчалю...

Картина, изображающая бурю в условиях северной природы, насчитывает всего 18½ строк; к 5 из них Глинка считал необходимым сделать пояснения. Главное, понятно, не в пояснениях, а в том, что описание бури имеет ярко выраженный местный колорит, специфичность* карельской бури. «Белое стадо» волн побежало не просто на берег, а «на дикий наволок лесной». «Наволоком называется здесь мыс. Сие название по-

казывает, что здешние мысы намыты, или навлечены водою». Мало того, что вихорь «буравит берег зыбкий», но и в результате его действия «растут в Онеге острова: все выше... выше их глава». Глинка подметил характерную особенность онежского пейзажа во время бури, так как «на озере Онеге приметно одно любопытное явление воздушной оптики». «Ивановские острова, в обыкновенное время равные с горизонтом воды, начинают возвышаться и расти (так кажется глазам!) перед наступлением непогоды и северо-восточного ветра. По этому явлению, без ошибки, узнают скорую перемену в погоде. «Стремясь показать ураганную силу бури, поэт говорит: «И гнется красный лес негибкий, и ель, свидетель трех веков». В примечаниях к поэме он сообщает рассказ местного жителя о долговечности карельской ели: «Здешний оберфоршмейстер Кирсанов при делании опытов, по случаю открывшейся новой комиссии по заготовлению листовых лесов, под ведением флигель-адъютанта Лазарева, нашел, по пересчету слоев, что многие ели выстаивали по два с половиной века и могли бы простоять еще долее». Изображая ослепительный свет молнии, которой боится леший, поэт в подтверждение ссылается на народное предание: «Есть предание, что лешие, духи лесные, чрезвычайно боятся грома». И, наконец, показывая результаты бури («Куда-то, чью-то сойму мчало»), Глинка ссылается на рассказ очевидца. «Один из здешних граждан М. рассказывал, что подобный вихорь опрокинул его сойму. Он плыл с братом. Выкинутые из судна, они схватились за борт и снасти и, таким образом, под бурю, в десяти верстах от берега, носились между жизнью и смертью, пока стихло, и жители прибрежных деревень, выехав на лодках в свой приход к обедне, услышали крик терпевших погибель и подали им помощь». Используя личные наблюдения и рассказы местных жителей, Глинка свои описательные картины в поэме, изображающие природу Севера, стремится подчинить основному мотиву: «Дика, сердита и сурова».

Столь же замечательны примечания к поэме «Карелия». Многие образы и описания этой поэмы нельзя понять без специального фольклорно-этнографического комментария. В прологе к поэме поэт, например, изображает северное сияние и морозное утро в Карелии. Великолепие красок и яркие световые обозначения он

сего произрастания придают особенную пестроту и разновидность скалам, так что в некоторое время года они кажутся, как будто, завешаны какою-то золотистою тканью, в другое же время поросты, или мхи, имеют вид пурпурового цвета».

И тихо озера лежат
На рудяных своих постелях.

И это сравнение дна озера с «рудяной постелью» вполне оправданно и закономерно, ибо «ложе или дно здешних озер состоит почти всегда из железной руды, которую добывают оттуда особыми черпалами».

Примечания к «Карелии» написаны рукой поэта-краеведа. Они содержат сведения по географии, ихтиологии, огородничеству, истории, лингвистике, фольклору, этнографии и т. д. и т. п.

По географии: «В сем описательном стихотворении, под именем Карелии разуместь должно, в тесном смысле, ту только часть нынешней Олонецкой губернии, которая еще и донныне погружена в лесах, идущих мимо Повенца к Белому морю. Продольные озера, пространные болота, множество огромнейших валунов и цепи обнаженных каменных пород составляют основные черты в великой картине сей дикой стороны».

По ихтиологии: «Лохами называют здесь рыбу из рода лососей; сии же лохи, побыв несколько месяцев в водах Белого моря, получают вкус и наименование семги, которая во множестве ловится в Архангельской губернии и, кажется, в особенности близ города Онеги».

По геологии: «Речка Неглинка протекает подле нынешнего губернского города Петрозаводска. Из ключа, подле оной, весь город пользуется водою. Впрочем в Олонецкой губернии много железных вод, из коих достопримечательнейшие суть Марциальные, при бывшем купоросном заводе, недалеко от чугуно-плавильного завода Кончезерского. Сими водами пользовался и подолгу на оных живал достойный вечной памяти император Петр 1-й».

По огородничеству: «В Олонецкой губернии, особенно же в северо-восточной части оной, вовсе нет фруктовых деревьев. Долго не знали здесь даже употребления капусты и картофеля. В городе Петрозаводске, крестьянин графа Орлова, Петр Накропин, в продолжении 40-летнего житья, в качестве городского огородника, первый старался развести сии овощи, и теперь успевает даже в выводе дынь и арбузов от семян, и получает довольно спаржи в своем огороде. За сим, кроме большого сада, с отличным вкусом разведенного (из здешних северных деревьев) при каменном доме начальника Олонецких заводов А. А. Фуллона, мало у кого воспитываются по одному, по два фруктовых дерева».

По истории: «Древний Олонец был большим городом. У меня есть список с рукописи, в котором подробно поименованы башни (числом и видом), стены, ворота, тайники и внутренние здания, находившиеся в Олонце, но, к сожалению, и крепость и здания были деревянные, и, после пожара, теперь Олонец есть не что иное,

как большая, но бедная, разбросанная деревня. Упомянув об Олонце, я скажу несколько слов о сем Воеводстве, или древней Заонежской Пятине. Страна, названная впоследствии Олонецким воеводством, известна была в XII столетии только по реке Оять, что ныне в Лодейнопольском уезде. До сего места, как видно из жития Александра Свирского, существовало население. Все же, что далее на Север, было покрыто лесами дремучими и входило в состав владений Новгородской республики, под названием Пятины Заонежской. На пустынных берегах великого озера Онеги и других многочисленных озер, кочевали племена Лопи и Самояды...

С давних времен известен только город Олонец. Позднее образовалось Воеводство Олонецкое.

Места, лежавшие за бывшим Олонецким воеводством к Северу, где ныне губернский город Петрозаводск, были совершенно пусты. Изредка встречались селения и монастыри, например: Маше-Озерский, Муромский, Палеостровский, позднее Соломейская пустынь и другие. Жители больших лесных селений, отвозившие установленную подать на Олонец, промышляли добыванием железной руды. Сплавливая оную, они получали большие выгоды от продажи выделанного железа и уклада по ярмаркам в селениях, тогда еще редких. Так было почти до последних лет царствования Петра I-го.

По истории техники: «Винтовка есть оружие здешнего края. Винтовки делаются в Повенецкой и Беломорской Карелии. В Повенце особенно работают их и теперь, особенно в селении Масл-озеро, Линдозерского погоста. Крестьяне, кареляки, сами плавят руду в сыродушных горнах и выковывают железо ручными молотами. Винтовки составляют, употребляя для того нарочито-улучшенное железо, таким образом: складывают два железных бруска и, с соблюдением внутри пустоты, выковывают ствол, который потом сверлят в особенном станке, с таким искусством, что нельзя не подивиться мастерству простых поселян в сем деле. Чрез такое сверление образуется сперва канал, а потом уже, как они говорят, нарезывается внутри винт: отчего и орудие называется винтовкою. Замок самый простой, малосложный и странного продолговатого вида, но имеет свою особенную удобность. Карельская винтовка отличается тем, что требует весьма мало пороху, а именно, никогда не более $\frac{1}{4}$ золотника на заряд; но бьет далеко и бойко (на 30 сажень в цель). Это разуметь должно только в самом малом калибре. Выстрел бывает очень незвонкий; иногда не громче звука, издаваемого хлыстом; почему на карельском языке звук винтовки называется вицею, что также означает хлыст. Из сих-то винтовок карельские стрелки бьют белку и рябчика дробною пулюкою в голову. Есть и такие винтовки, которые, будучи большого калибра, берут пороху не менее ружейного заряда, но зато бьют на 120 сажень в цель!»

Карельские поэмы явились в результате большой предварительной работы поэта над историческим и современным материалом. Глинка настолько увлекся историей местного края, что собирался написать подробное «Статистическое описание Олонецкой губернии». Предполагая послать «Деву Карельских лесов» в Петербург, А. А. Никитину, Глинка написал большое посвящение, в котором говорил:

«Я обещал Вам переслать, в письмах, статистическое описание Олонецкой губернии, края уединенного, бедного людьми (ибо на 12 000 000 десятинах здесь едва найдется 100 000 и то не совсем постоянных жителей), но богатого великими запасами лесов еще нетронутых, руд неископанных, каменных пород (мрамора, порфира и проч.) высокого достоинства, красивых земель и камней, могущих стать наряду с драгоценными, ибо, кроме других, на островах Кижии находят хорошие аметисты. Я уже собрал некоторые материалы для составления обещанного. Но пока созреет что-нибудь довольно удовлетворительное строгих требований науки, примите, в знак дружбы и благодарности за дружбу, мою небольшую повесть. Она познакомит Вас отчасти с истинной стороной сих лесистых пустынь, на пространстве которых почивают огромные озера, почти можно сказать — пресные моря, ибо Онега имеет более 1000 верст в окружности и 10 000 кв. верст площади». ³⁸

Это очень ценное признание поэта окончательно вводит нас в ту своеобразную обстановку, в которой создавались поэмы о Карелии. Сохранив условно романтическую рамку сюжета, Глинка заполнил ее реалистическими описаниями и вполне самобытными картинами. Глинка, видимо, и сам понимал, что на его «Карелию» следует смотреть прежде всего как на своеобразный краеведческий очерк в стихах. Не случайно свою поэму он назвал «описательным стихотворением».

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ

Федор Глинка, руководивший вплоть до 1825 г. «Вольным обществом любителей российской словесности», через которое декабристы осуществляли свою политику в литературе, в годы ссылки, несмотря на горькие переживания и мучительную тоску, не утратил своей прежней любви к родному слову и к поэтическому миру фольклора. В Петрозаводске он значительно расширил свои фольклорные интересы, усвоив себе народно-поэтические богатства Карелии. Олонецкий край, тогда еще неизвестный науке и литературе, как край былевой поэзии и народных сказаний, в лице ссыльного поэта из Петербурга, нашел своего первого энтузиаста-фольклориста, обратившего пристальное внимание на замечательные россыпи народной поэзии. Многие из того, что Глинкой было записано и собрано, не сохранилось и для нас окончательно утрачено. Но и то, что осталось, что найдено среди бумаг поэта и что вошло в его карельские поэмы, свидетельствует о большом и вдумчивом труде ссыльного поэта над фольклором.

От петрозаводских жителей Глинка услышал предание о местном силаче Фаддее, который слыл в народе праведником и лично был знаком с Петром Великим. «Жизнеописание» блаженного Фаддея было опубликовано в 1844 г. в «Олонецких губернских ведомостях». В нем, между прочим, говорилось:

«Фаддей был среднего роста, благородной осанки, кроткий и смиренномудрый; имел седые кудрявые волосы, круглое, благообразное и бледное лицо, высокое

чело, украшенное морщинами, умильный и дальновидный взор. Фаддей носил железные вериги и крест на груди и плечах. Железный посох был его опорой. Думу светлую, ум глубокий и тонкий и христианские добродетели Фаддей скрывал под видом юродства.

Родом он был олончанин, но неизвестно, откуда именно. Люди, имевшие случай беседовать с ним, утверждали, что Фаддей прибыл на Петровские заводы в 1706 году и жил в маленькой хижине, на север от Петропавловского собора.

Обладая в некоторой степени даром прозорливости, Фаддей предсказывал уничтожение тогдашних заводов и фабрик и устройство впоследствии в обширном виде новых заводов, умножение народонаселения, расширение самого городка до реки Неглинки, довольство жителей и большую известность места, населенного в то время только одними почти рабочими заводами. Народ стекался к блаженному и слушал прозорливые и мудрые его слова.

Наконец, жизнь Фаддея ознаменовалась высоким благочестивым вниманием Петра Великого. Великий государь, в проезд в 1719 году к Марциальным водам, посетил Петровские заводы. По выходе из церкви народ приветствовал императора радостными кликами. Вдруг из толпы выступает старец Фаддей в черной одежде, опоясанный ремнем, с железным посохом и, приветствуя Петра Великого, повергается к стопам его. Монарх тронут был почтенным видом старца и благословениями его и приказал вельможам поднять юродивого. Его величество спрашивал Фаддея о роде и жизни его и проник в глубину благочестивой души. С тех пор Фаддею был открыт свободный вход во дворец, где он часто беседовал с императором, в каждый раз, когда его величество бывал на заводах.

1724 год, памятный для Петровских заводов последним посещением Петра Великого, замечателен и в жизни Фаддея. При отъезде из Петрозаводска Петр, после беседы с Фаддеем, сказал: «Прощай, почтенный и блаженный старец Фаддей! В молитвах своих воспоминай и на путь нас благослови!» — Фаддей отвечал: «Господь бог благословит вхождение твое и исхождение отныне и до века.» — Потом со слезами сказал, что видит Петра в последний раз, дополнив: «Не бывать, не бывать, надежда-государь, не бывать!».

Говорят, Петр приказал иметь надзор за юродивым... Но следующий год был исполнением пророчества. 28 января 1725 г. не стало Петра. Пред кончиною, одержимый тяжким недугом, император вспомнил предсказание Фаддея и послал курьера на Петровские заводы с повелением освободить юродивого и прозводить ему посмертный пенсион.

С небольшим чрез год (в 1726 г.) и блаженный Фаддей кончил благочестивую земную жизнь свою с тихою радостью и упованием». ³⁹

Первая запись предания об олонецком Фаддее принадлежит Глинке. Среди бумаг поэта находится следующая заметка: «Фаддей — юродивый — он ходил в сером кафтане, подпоясанный ремненным поясом, на груди носил медный крест, в руках — всегда вылитую железную палку. Он был правдив и набожен, любил детей, журил стариков, изумлял кликуш и пугал леших. Тогда судьи были строгие: сажали виновных на деревянную кобылу и вешали. Но горе было судьбе неправедному. Его всенародно порицал Фаддей с железной палкой».

Интересно отметить, что Глинка в Фаддее желает видеть не столько юродивого и набожного человека, сколько защитника социальной справедливости, подлинно народного героя. Олонецкое предание Глинка использовал и переработал в стихотворении «С железной палкою своей», которое обнаружено также среди бумаг поэта:

Во времена царя Петра
Жил дивный муж в Кареле дикой —
Фаддей, раб божий, друг добра,
Муж свят и труженик великой.
Враг золота и серебра,
Кой-как маячась на день со дня,
Без дум, без завтра, без вчера,
Он знал одно — свое сегодня...
Старик везде, старик нигде,
Являлся в церкви и в суде,
Там — образец молитв усердных,
А там — делец, истец за бедных;
При всяком горе, при беде
Все он!.. Кончалась ссора свалкой,
Фаддей был там, как в руку сон —
Громя бойцов железной палкой:
Везде ходил с той палкой он!
С своей утиной перевалкой
На свадьбу часто с похорон,
Бежал он в колпаке двурогом...

Урод — в отрешии убогом, —
С детьми он пел, с детьми играл,
Верхом на палочке ездил;
Но громовой перун блистал
Во взоре строгом, взоре остром,
Когда в грехе он обличал
Бесчинников закоренелых.
Огонь — в своих порывах смелых.
Стоял он сильно за людей,
И часто, часто злых судей,
Или приказных закоснелых,
Крестил разгневанный Фаддей
Железной палкою своей.⁴⁰

О фольклорных интересах Ф. Глинки наглядно свидетельствуют поэмы «Дева Карельских лесов» и «Карелия», написанные в Петрозаводске в 1828—1829 гг.

В третьей части поэмы «Карелия», где воспроизведены народные сказки и предания, Глинка иронически замечает о лже-теоретиках и лже-мудрецах, которые пишут и говорят о народе и его поэзии, не зная и не понимая народной жизни.

Иди к ним, с умной головой,
Начитанный теорик, — что же?
Тебе ученость не поможет:
Ты говоришь: «Все глушь да мрак»,
А духи шепчут: «Ты дурак!»

В доказательство того, что в народе много прекрасных и возвышенных чувств, которых недостает «начитанному теорик», Глинка просит послушать несколько народных сказок. В поэме «Карелия» мы видим своеобразную народную сказительницу, хранительницу богатейших сокровищ народного творчества, — карельскую девушку Машу:

И так... И так карелка наша,
Рассказы сказочных затей,
И про дела богатырей
В семьях читает рыбарей,
Когда зимою вьюга взвевет,
И все замрет и побелеет...
В избе бревенчатой, большой,
До половины задымленной, —
Где лапки, сеть, ведро с ковшом,
В углу же, древностью почтенной
Карельский Спас. Она была
Отрадой для толпы брадатой:
Все цепенели — лишь брала

Запас из кузова богатый...
То сказки!.. Сказки про Ильча,
Про витязя Иеруслана
И про царевича Ивана.

Маша сказывала сказки о чудесных встречах и богатырских подвигах Заонеги, который «громит и бьет» волков, поставленных злыми духами, и пробивает в Онегу ворота:

Про озеро свое Онегу
И про карельца Заонегу,
И кто же был он? — богатырь!
И славный!.. он, с дубиной, смелый,
Берег карельские пределы
И славил свой лесной пустырь.

В рассказах Маши встречаются типические былин-ные мотивы и ситуации: богатырь Заонега охраняет карельские пределы и бьет дубиной змея Тугарина.

- Мы помним змея Тугарина:
Он триста сажен был длиной,
И горы подымал спиной,
Но Заонегина дубина
Ему далась порядком знать.

Боевые качества богатыря Заонеги отражают героический характер самого народа. В конце поэмы «Дева Карельских лесов» речь идет о борьбе русского и карельского народа с иноземными захватчиками. Беглец из высшего света, скрывавшийся в лесу у олонецкого крестьянина, однажды услышал шум сечи:

Уже ль война? — уже ли к нам
Опять француз пришел с бедою!
Француз далек: тут ближе швед!

Развивая эту тему в отрывке «Лесные воины», Глинка показывает «смельчаков из Заонеги»:

У них объявлена война!
И смельчаки из Заонеги,
От Киж до Ялгубских ворот,
Несутся в быстрые набеги,
И чутко ищут след врагов.

Особенно широко в поэме «Карелия» представлена мифология этого края. В поэме и в примечаниях к ней Глинка неоднократно ссылается на народные предания и поверия лесной Олонии, нравы и обычаи северного

крестьянства. Интересно отметить, что сведения и наблюдения Глинки в области мифологии и этнографии Карелии через несколько десятилетий будут полностью подтверждены наукой. Так, например, Маша «преважно уверяла», что «есть у них водяники, воздушники и лесовые». В поэме «Дева Карельских лесов» девушка поет песню о водяном:

Когда Мун-озерской водою,
Я часто ягоды брала:
Тогда была я молодою,
Тогда я счастлива была!
Бывало мы, толпой, глядели,
Сквозь наши темные леса,
Когда на озере белели
Карельских лодок паруса.
Однажды озеро яснело,
А берег был угрюм и дик,
И вдруг с подножья закипело,
И встал какой-то чудный миг!
В его глазах светлело пламень!
Он плыл на наволок пустой
И смело сел на серый камень
И вынул гребень золотой.
Я испугалась, убежала,
Но все смеялись надо мной:
«Как ты проста: ты не узнала:
То наш хозяин водяной!»

Действительно, культ водяного, лесовика и воздушника особенно характерен для древних верований заонежского и пудожского крестьянства. «Борьба с лесом, с бурными озерами, — свидетельствует Н. Н. Харузин в своей статье «Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии», — поглощает, главным образом, деятельность крестьянина. Не удивительно поэтому, что из разрушившихся верований наиболее уцелели те, которые стоят в связи с лесом, озерами и со скотоводством, как главным подспорьем в хозяйстве крестьянина.»⁴¹

Народное предание о водяном, который сидел на камне и расчесывал свои волосы, передает В. Харузина со слов олонецкого старика, причем это предание почти полностью совпадает с образом водяного из песни карельской девушки («Дева Карельских лесов»). «В существовании водяных, — замечает В. Харузина в книге «На Севере», — население нисколько не сомневается; живо хранит оно это верование, подкрепляемое рас-

сказания очевидцев или слышанное от очевидцев о том, как видели водяного старика, который иной раз является снабженным гусиными лапами, а другой — похожим на всех обыкновенных людей. Еще недавно один мужик из Кул-Наволока видел его в самых железных воротах: он вылез на остров и, сидя на камне, начал было гребнем расчесывать свои волосы, но при виде человека стремглав бросился в воду». ⁴²

Лесовики, водяники и ветровики, согласно народным преданиям, вмешиваются в жизнь крестьянина, они помогают людям в их делах или вредят; лесовик, например, выводит из лесу заблудившихся или, наоборот, завлекает людей в чащу, похищает скот; однако, с ним можно вступить в договор, и тогда он станет оберегать человека; особенно опасно с ним повстречаться во время лесовиковой свадьбы. На тройке разъезжает «северик», — самый опасный ветер, от которого зависит лов рыбы («северик подует — из котла рыбу повынет», говорят ведлозеры); водяник — главный хозяин озер и рек, он часто выходит на берег, любит посидеть на камне, но при виде человека водяник обычно скрывается в воду. В поэме Глинки мы читаем:

Они, то в виде великанов.
Кроят одежды из туманов;
То, мелкие, в рыбачью сеть
Закрывшись, жадно крадут рыбу;
То шарят в гнездах у гагар;
То вдруг обрушат сверху глыбу;
То на кого нашлют угар;
Подчас иной, на скот заразу;
И страшную всегда проказу
Чрез знахарей-кареляков
На свадьбе сочинят. В волков —
(Да, да, в волков) гостей и свадьбу...
Тузят лепивых поселян
И красных девушек пугают..

В примечаниях к поэме «Карелия» Глинка высказал много наблюдений, явившихся в результате прекрасного знания народных легенд и поверий. «Пснятие кареляков о духах есть троякое. Первое место, — замечает он, — занимают лешие. Они по природе своей добры, простосердечны, любят дружить с человеком, сожалеют о нем и часто оказывают ему услуги. Во второй степени поставляют духов водяных. Они сердиты, но честны и весьма прозорливы: видят далеко будущее и

объясняют о нем справедливо, хотя и неохотно. Наконец, духи воздушные блюдут невидимо за человеком, замечают в нем все худое и высказывают оное с торжеством и смехом.» Эта характеристика мифологии Карелии достаточно точна и полна. Все последующие этнографы отмечали пережитки «культы ветра и духа воды», культ лешего-лесовика, который «понижается до роста травы или вырастает наравне с соснами». Особенно показательны те выводы, к которым пришел П. Н. Рыбников в своей блестящей статье «Народные поверия и суеверия в Олонецкой губернии», напечатанной в «Памятной книжке Олонецкой губ. на 1864 год». Рыбников, вслед за Глинкой, отметил, что духи созданы народом по образу и подобию земных представлений, что и «по природе и по наклонностям близки к человеку, но только сильнее его». Это домовики, лесовики, лесные старики, водяники, водяные женщины. «Лесовик — хозяин леса. В обыкновенное время, — поясняет Рыбников, — его не видно, а слышен только хохот да аукание, да плеск рук. С виду лесовик похож на человека, только кровь у него темная, а не светлая, как у людей, поэтому его и зовут синеобразным. Без причин он ни за что не тронет человека: «Он-де праведен — не то, что чорт». Есть у лесовиков, в каждой земле, как и у людей, свои воеводы и свои цари. Над русскими лесами царствует Мусаил-лес. Когда у людей заведется усобица, ведут между собой войну и лешие. Сходятся целые войска их и зверей их царств и бьются между собой до тех пор, пока не прекратится человеческая война.» «Водяник — высокий, здоровый мужик; с лица черен, голова у него, как синяя копна. Под водою водяников есть целые царства... жители этих подводных поселений совсем не такого незлобивого характера, как лесовики. Во-первых, они, пользуясь малейшей оплошностью, хватают «крещеных» с лодок или во время купания, особенно девок, и топят их; во вторых, — ходят к заклятым женщинам». Целые полчища нечистой силы живут в горах. С ними «особую дружбу ведут колдуны». Это лембои — «особое сословие нечистой силы». «У них там целые села с проселками и города с пригородками. Лембои женятся между собой, а все им мало: дня не проходит, чтобы они не похищали людей, в особенности детей, которые закляты родителями».⁴³

Фольклор Карелии несомненно оказал положительное влияние на поэзию Глинки. Заброшенный в «Исландию русского эпоса», ссыльный поэт без устали выслеживал фольклорные мотивы и образы и переносил их в свои поэмы. В народной поэзии Глинка нашел яркие краски, богатый юмор и совершенно неиссякаемую игру народного воображения. Следы фольклорных влияний мы находим в «Деве Карельских лесов». Лесной житель рассказывает своей дочери о неравном бое со «страшными лесовыми змеями» и о славной победе над ними. Аллегорический рассказ отшельника возник под влиянием народных легенд и преданий (сравни со сказанием Маши о богатыре Заонеге). В широком фольклорном плане был задуман поэтом отрывок «Лесные войны», который предполагалось включить в поэму «Дева Карельских лесов». Этот набросок представляет собою индифференциальные картины, где образ народной мифологии и волшебного-героического сказок олицетворяют дидактические понятия самого поэта. Это целый клад фольклорных мотивов и сюжетов: карельский бык, «сей пастырь стад», «громит врага» и «рев его густой и звонкий шумит по дебрям, как Кивач»; «наш медведь», «в смиренном звании раба» «чей-то сторожит колодец» и «в замшевом своем камзоле силач трудится с кузнецом»; «семейство подколодных змей» — «беспечно спит в тиши лесной»; «муравей — рыцарь смелый и проворный» — охотится за пауком, кит, «Наполеон морей», «надежду губит рыбащей» и «пожирает и теснит среброчешуйные народы» и т. д. В поэме «Карелия» Глинка еще более усиливает фольклорную окраску сюжета и стиля, к чему повод дает введенная в поэму карельская девушка Маша, прекрасная сказительница. Репертуар Маши исключительно разнообразен. Она рассказывает сказки и предания о водяных, леших, лесовых, о воздушных великанах, которые «кроят одежды из туманов», «крадут рыбу», «тузят ленивых поселян и красных девушек пугают». Здесь же, на страх всякой нечистой силе, живет и действует былинный богатырь Заонег. Предания и сказки Маши исходят не из книжного источника, а из живой устной традиции. Поэтический инвентарь их исключительно сложен. Типично сказочные мотивы и образы переплетаются с мотивами и образами былинного эпоса. Змей Тугарин и богатырь Заонег — прямо заимствованы из былин, Заонег есть

не кто иной, как заонежский Илья Муромец. Следует сказать, что фольклорные образы и мотивы присутствуют в поэме «Карелия» не как орнамент, создающий внешнюю экзотику, а вполне органично входят в поэтический стиль, разрабатывая силы и свойства, присущие этому стилю. Народное слово составляет существо поэтического стиля Глинки, поэтому стиль этот так легко и естественно и в дальнейшем срастается с любыми фольклорными заимствованиями. Народные выражения, слова и обороты, пословицы и поговорки Глинка использует в переосмысленном и переплавленном виде. Приведем несколько примеров художественного претворения.

Груба лесных карелов пища,
Их хлеб с сосновою корей.

Эта характеристика образа жизни тогдашнего карела повидимому явилась в результате творческого переосмысления народной поговорки: «Карел кору ел».

Как в поговорке, так и у Глинки «кора» и «карелы» связаны друг с другом звуковыми отражениями. В стихах Глинки как бы прокатывается из строки в строку: *лесных карелов, хлеб... карой*. В поэме «Карелия» Глинка использует местное слово «шелойник», означающее юго-западный ветер:

И мертво все... пока шелойник
В Онегу, с свистом сквозь леса,
И нагло к челнам, как разбойник,
И рвет на соймах паруса.

Здесь важно не только введение в поэтический текст такого слова, как «шелойник», которое придает стиху своеобразную лексическую окраску, но и стиховое сопоставление «шелойника» с разбойником. Оно тоже взято из народной пословицы: «Ветер-шелойник — на Онеге разбойник». В понимании народа «шелойник» не просто ветер, а злой ветер, который причиняет много беды рыбакам, рвет на соймах паруса и т. п. Народную пословицу, народное сравнение, выраженное в поговорке, Глинка сначала разлагает, «шелойник» и «разбойник» у него сначала отделены друг от друга, но потом эти слова и образы снова воссоединяются в качестве рифм, звуковые соответствия стиха помогают этим терминам

найти друг друга. Так например, рифмы, звуковой строй стихотворения, чередования его словесных рядов имеют у Глинки в качестве своей подосновы народную поговорку, а поговорка превращается в музыкальную тему.

Выражение Глинки — «туман постелется холстом и рыба к берегу хвостом» — становится понятным, если учесть, что онежские рыбаки «узнают полночь по тому, когда рыба становится к берегу хвостом, а в Онегу головой, ибо с вечера бывает обратно». Художественный образ Глинки в данном случае вырос из народной загадки: «Туман холстом, а рыба хвостом». Выражение Глинки — «Для глаз ударистые краски» — становится ясным, если учесть, что олонецкие мастеровые под словом «ударистый» имеют в виду узор и расцветку. Они говорят: «Такой-то узор надобно сделать посогласнее, а такой-то — поуударистее».

Задолго до открытия П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом в Карелии «Исландии русского эпоса», ссыльный поэт-декабрист нашел в этом крае неиссякаемые источники народного творчества и широко использовал фольклорные образы и мотивы в своих карельских поэмах.

Одна из главных заслуг Глинки как автора «северных поэм» состоит в введении в литературу художественных картин из жизни трудолюбивого карельского народа. Исторический и современный материал Карелии Глинка превратил в поэтический материал, а жизнь и быт северного крестьянства сделал вполне равноправной темой художественного изображения, столь же ценной в эстетическом отношении, как и темы из жизни и быта русского дворянства. С явным сочувствием поэт-декабрист изображает северное крестьянство, характеризую его трудолюбивым, и с восхищением говорит в примечаниях к поэме, что «у карельцев язык благозвучен». От природы одаренным человеком был крестьянин Никанор («Наш Никанор был тверд душою, с холодной, умной головою и сократическим челом»), его дочь Маша «умом и разумом блистала». «Жители Олонецкой губернии, — замечает Глинка, — издавна охотливы к грамотности», они «отличаются особенным, холодным, рассудительным умом, и сократическое чело (как его видим на бюстах Сократа) часто встречается под шапкой крестьянина — есть признак здравого, светлого ума».

ПЕРЕВОДЫ КАРЕЛО-ФИНСКИХ РУН

В апреле 1828 г., тогда еще молодой студент-медик, по происхождению сын крестьянина, Элиас Лёнрот, с сумкой за плечами, отправился в первое путешествие за рунами (эпическими песнями) карело-финского народа. Через год Лёнрот выпустил небольшой сборник «Кантеле».

Позже, в предисловии к пятому изданию этого сборника, он признавался: «Быть может, многие думают, что я поступаю неправильно, когда я трачу и время и свои скудные средства на собирание и печатание рун. Многие лично упрекали меня в этом. Пусть будет так; я сам иногда замышлял бросить эту работу, которая мне доставляет только труд да расходы. Но изменить свой характер трудно: «Гони природу в дверь, она влетит в окно». Труд энтузиаста Лёнрота не пропал даром. Прекрасные эпические и лирические песни настолько увлекли собирателя, что он еще и еще отправлялся в далекий путь, несколько раз пешком обошел разные районы Карелии, добрался до бывшей Архангельской губернии. Он исписал десятки тетрадей, собрал удивительную коллекцию жемчужин народного творчества — рун. В 1834 г. он встретился с лучшим певцом Карелии, крестьянином из дер. Ладвозеро, Архипом Пертуевым (умер в 1899 г.), от которого записал 50 рун. Многие из этих рун и легли в основу знаменитой «Калевалы».

Эпические песни или руны под общим названием «Калевала» увидели свет в 1835 г. В 1849 г. появилось

второе, более полное издание «Калевалы», состоящее из 50 рун (около 23 тысяч стихов), тогда как первая редакция «Калевалы» содержала лишь 32 руны (около 12 тысяч стихов). С тех пор «Калевала» заслуженно считается памятником мировой народной культуры. Она переведена на русский, французский, английский, шведский, итальянский, голландский, чешский и другие языки. Наиболее полный и совершенный перевод «Калевалы» на русский язык принадлежит проф. Л. П. Бельскому; он был удостоен в свое время пушкинской премии.

А. М. Горький ставил карело-финский эпос рядом с «Илиадой»: «Мощь коллективного творчества, — писал он в статье «Разрушение личности», — всего ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного «Илиаде» или «Калевале», и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество».

Руны «Калевалы», объединенные в один сказочно-героический сюжет, повествуют о приключениях и подвигах славных народных героев — Вейнемейнена, Илмаринена, Лемминкейна. Герои эпоса одарены блестящими и высокими качествами; они смелые и мудрые люди, обладающие огромным жизнелюбием, энергией и отвагой. Вейнемейнен — певец и заклинатель, мудрый старец, создавший народный инструмент кантеле. Музыкальный инструмент в руках вещего старца имеет мифологическую силу, он заговаривает своими нежными звуками людей, зверей и даже неживую природу. Поиски Вейнемейненом кантеле выражают заветную мечту народного эпоса о радостной и счастливой жизни, веру народа в возможное счастье на земле.

Идеал «Калевалы» — не только найти и сохранить кантеле, но и выковать мельницу-само молку Сампо, этот главный источник человеческого счастья. Чудесная мельница Сампо олицетворяет мечту об изобильной и зажиточной жизни, о том «золотом веке», «когда в дорогой моей отчизне выйдет семя, неизменных благ начало: выйдут пашни и посевы и различные растения».

Много замечательных историй рассказано в этой народной поэме о счастье, расцвеченной богатым поэтическим вымыслом и яркими огнями народного вообра-

жения. Много замечательных художественных узоров, словесных фигур, мифологических образов, правдивых человеческих характеров, широких обобщений и глубоких мыслей содержит «Калевала». В ней рассказывается о бурной жизни воинствующего и веселого Лемминкяйнена, о его смерти и чудесном оживлении, о героическом походе Вейнемейнена в суровую страну Похьолу, о необыкновенно красивой дочери старухи Лоухи, о богатыре Куллерво и его трагической судьбе. Герои «Калевалы» борются со стихиями, стремятся познать сущность явлений, мечтают об идеальной жизни. Они устремлены вперед, к будущему, к широким просторам и светлым горизонтам. Наряду с героическими мотивами и мифологическими образами в «Калевале» много чисто реалистических описаний быта и обычаев народа, много ярких пейзажей, живо напоминающих природу Карелии, с ее многочисленными рудными озерами, дикими лесами и гранитными скалами.

В 1828 г., когда Элиас Лёнрот в первый раз пришел на север Карелии, чтобы собрать руны, русский поэт Федор Глинка, друг и современник А. С. Пушкина, находился в ссылке в Петрозаводске. Он внимательно изучал здесь также финскую народную поэзию и сделал первую попытку в России перевести руны «Калевалы» на русский язык. Об интересах ссыльного поэта к карело-финской поэзии достаточно ясно свидетельствует поэма «Дева Карельских лесов». Лесной житель имел в руках «создание бога Вейнамены» и рассказывал своей дочери предания старины глубокой. Подлинный текст эпических песен в поэме отсутствует, но руны лесной житель под аккомпанемент кантеле, и их напевы затвердил беглец из светского общества.

Он говорил им о кареле,
О финнах горной стороны,
Где в их глуши на самом деле
Поверишь басням старины.
Там часто сам, как дух в туманах,
Пастух иль рыбарь на скалах
Поет таинственные руны,
Уж непонятные для нас!
И часто в полночный час
Звучат под шум дубравный струны,
И движется в его руках
Созданье бога Вейнамены.
Преданья рун ему бесценных:

Убереглись они в веках...
«Я затвердил сии напевы!» —
Наш гость хозяевам сказал, —
И, преклонясь на просьбу девы,
Он руны древние читал.

С карело-финской народной поэзией Глинку познакомил известный проф. Шегрен, крупнейший знаток финно-угорских языков. В конце 1827 г. проф. Шегрен посетил Петрозаводск и там встретился с русским поэтом. В примечаниях к стихотворению «Рождение арфы» Глинка сообщает: «Известный проф. Шегрен два раза проходил скалистую Финляндию и олонецкие леса с целью исследования языка финских племен. По зимам заходил он отогреться в Петрозаводск и словесно переводил мне некоторые из древних финских стихотворений, имеющих свой особенный размер, без рифм, но звучный и приятный». В бумагах поэта сохранилось дружеское послание Глинки под названием: «Петрозаводская руна», в которой ссыльный поэт приветствует своего петрозаводского друга размером подлинника, слогом «Калевалы». Вот это послание:

Долго, долго, доктор милый!
Ждал я жадно Ваших писем:
Где-то Шегрен наш гуляет?
Там ли, где в тиши, зыряне,
Дети добрые природы,
По дубравам дичь стреляют,
Водят пчел в дуплах древесных,
Нравом кротки и не знают
Мелких краж и вероломства. Иль в Карелу
Он пошел опять на поиск?
Не в отчизне Вейнемейны?
Где б ты ни был, доктор добрый,
Так я думал... над тобой:
Мир почий и милость бога,
И спаси тебя святая
Ma id mawia Kenine muttud!

В бумагах Глинки нам удалось найти несколько подлинных рун, им обработанных.⁴⁴

На автографе стихотворения «Касос» рукой поэта сделана пометка: «К деве Карельских лесов». Видимо Глинка предполагал эту руны включить в поэму сразу же после лесного жителя: «убереглись они в веках». Таким образом окончательный текст приведенного выше

отрывка из поэмы «Дева Карельских лесов» имел бы следующее продолжение:

Старец Касос, царь полночи,
Ветхий, древний небожитель,
И родитель Вейнемейны;
Спал у матери во чреве
Долго — тридцатилетним сроком:
Скучно было жить без жизни...
Вдруг почувал жизнь и бодро
Распахнул свою темницу,
Протолкнул затвор ногою
Безымянным крепким тельцем:
Левые ноги мизинцем.
Добыл меч он богатырский
И поднял седло и смело
Скачет, как седой младенец,
Только вырвавшись из чрева.

Перевод Глинки достаточно точно соответствует первой руне «Калевалы», где изображается возникновение мира и рождение Вейнемейнена (у Глинки — родителя Вейнемейнена).

Насколько удачно Глинка переводил руны, сохраняя характерную для карело-финской народной поэзии аллитерацию (созвучие согласных), трохеические стопы и постоянные перифразы, свидетельствует «Возрожденная арфа» (41 песня «Калевалы»), где изображается игра Вейнемейнена на кантеле (в переводе Глинки кантеля Вейнемейнена).

Параллельно тексту Глинки приведем соответствующий отрывок из 41 руны «Калевалы» в переводе проф. Бельского:

Сам наш старый Вейнамена,
Сам ладья изобретатель,
Изобрел и сделал Арфу,
Из чего ж у Арфы обруч?
Из карельския березы.
Из чего колки у Арфы?
Из каленых спиц дубовых.
Из чего у Арфы струны?
Из голосев бурных коней.

И сзывает Вейнамена
Дев и юношей игривых,
Чтоб порадовались Арфой,
Прозвенев ее струнами.
Но была не в радость —
радость,
Не игриво их играешь!

Старый, верный Вейнемейнен,
Вековечный заклинатель,
Тут привел в порядок пальцы,
Помочил больших два пальца.
На скалу отрады вышел,
Сел на камень песнопенья.
На сребристом возвышеньи,
На холмочке золотистом.

Пальцами берет он гусли,
Ставит выгиб на колени,
Держит кантеле руками,
Говорит слова такие:
«Приходи сюда послушать,
Кто еще не слышал раньше
Эти звуки вечных песен,
Как звучат прекрасно гусли».

Позвал он мужей безженных
И женатых звал героев:
Радость все была не в радость,
Не ласкались к звукам звуки...
Позвал он старух согбенных
И мужей в срединных летах:
Радость все была не
 в радость —
Не сливался звук со звуком!

Тут восстал наш Вейнамена
Сам — и сел, как лучше ведал.
И своими он перстами
Повернул затылок Арфы

На коленях, к самой груди;
И, уставя чинно Арфу,
Заиграл он сам, наш старец...
И была игра игрою,
И уж радость стала в радости!
И по всем лесам и рощам
Не нашелся ни единый
Из больших четвероногих,
Или чьи малютки-лапки
Резво бегают в дубравах,
Чтоб не шел с толпой
 послушать,
Как искусно будит радость
Старый, добрый Вейнамена.

Сам медведь на задних лапах,
Упершись на изгороду,
Стал... и долго слушал песню.
Не нашлось в лесах и рощах
Никого из всех пернатых,
Пестроперых, двукрылатых,
Кто б от песни отказался:
И слетелись все, как тучи,
Или снежные охлопки!

Не нашлось и в синем море
Шестиперых, восьмиперых,
Молодых и стариков,
Обитателей подводных,
Кто б, узнав о чудной песне,
Не пошел ее послушать.
И хозяйка водяная,
Повалившись на осоку
И припавши грудью белой
На высокой мшистой камень,
Поднялась, чтоб слушать
 песнь...

Начал старый Вейнемейнен
Издавать искусно звуки
На тех гусях рыбьей кости,
На том кантеле из жуки;
Пальцы быстро поднялися,
Высоко большой поднялся.
Шло веселье за весельем,
Клик за кликом раздавался,
Та игра была игрою,

Пенье было по напевам;
Звук издали рыбы кости,
Дали тон те щучьи зубы;

Струны звук давали мощный,
Волоса коня — тон светлый.
Вот играет Вейнемейнен —
Не осталось зверя в лесе,
Изо всех четвероногих,
Тех, что могут бегать, прыгать,
Чтоб не шел туда послушать
И, ликуя, восторгаться.
Белка весело цеплялась,
С ветки прыгала на ветку;
Подбежали горностаи,
Возле изгороди сели;
Лось запрыгал на поляне,
Даже радовались рыси.

Волк проснулся на болоте;
На песчанике поднялся
Сам медведь в сосновых чашах,
Средь густых зеленых елей.
Волк бежит широким полем,
По песку медведь несется
И садится у забора;

У калитки он уселся,
Повалил забор на камни,
На песок свалил калитку;
На сосну тогда влезает,
Он вскарабкался на елку,
Чтобы ту игру послушать
И, ликуя, восторгаться.

И у старца Вейнамены
Влажны, влажны стали **очи**,
И **отхлынули потоки!**
И скруглялась влага в капли,
И те капли были крупны,
Как на мшистых тундрах
 клюква,
И катились капли к груди
И от груди потихоньку
На согбенные колена,
От колен к ногам и ниже...
И прошли **сквозь пять**
 покровов,
И **сквозь восемь рунных**
 тканей...
 тканей...

Плачет старый Вейнамейнен,
Слезы катятся обильно.
Из очей сбегают капли,
Те жемчужины стекают,
Те крупнее они клюквы
И горошины потолще.
Покрупней яйца рябушки,
Головы касатки больше.
Из очей водица каплет,
Сильно каплями сбегаёт
И на челюсти стремится
По щекам стекает книзу,
И со щек бежит прекрасных
На широкий подбородок

Стихотворение «Рождение Арфы» было напечатано только в 1863 году в сборнике «Современники» (СПБ, т. 2, стр. 337—339), но и оно прошло совершенно незамеченным и не вошло ни в один библиографический указатель о «Калевале». Обнаруженные нами руны дают основание считать Глинку первым переводчиком рун знаменитой «Калевалы».

ЦЕНЗУРНОЕ ГОНЕНИЕ

На «государственных преступников», замешанных по делу декабристов, николаевское самодержавие действовало самыми разнообразными способами. Кроме виселиц и каторги, оно еще располагало средствами цензуры. От общей судьбы не ушел и олонецкий ссыльный. Оглядываясь назад, вспоминая цензурные мытарства с поэмой «Иов» и «Очерками Бородинского сражения». Глинка в 1863 г. писал А. А. Краевскому:

«Соглашаясь со всеми замечаниями, я могу только позволить себе сказать словами Коцебу: «мир стоит на обстоятельствах!» Да, некогда астрологи верили в стечение звезд, мы, волею-неволею, должны верить в стечение обстоятельств. Все показалось бы ясно, если бы Вы могли узнать по каким обстоятельствам слагалась судьба моей жизни и через какие пути и перепутья доводилось ей проходить! — поневоле надо было ограться и загородиться ссылками, отметками и всякого рода примечаниями и оговорками. Еще старый Гезиот сказал: «Когда жаворонок попадает в клюв орла, не ожидай от него полной песни!» Можно бы сделать больше — я сделал, что мог! — Не даром же Шамфор, старинный переводчик «Илиады», сказал: «Хорошо было Гомеру писать, когда в его время не было цензуры». ⁴⁵

В бумаге поэта сохранился стих о цензуре:

Оно бы и лучше... цензуры
Обычай стал уж больно строг:
Он и с поэтов скоблит шкуры
И гнет талант в бараний рог!

Но пусть цензуре стихоломство,
Раз право такое дано,
Придет же, в свой черед, потомство,
И суд свой выскажет оно!

И так, как девы бисер чистый
Пересыпают на руках,
Мы будем бисер дум огнистый
Переливать в своих стихах.

И пусть холодный люд помехи
Порой лукаво ставит сеть:
Для собственной своей утехи
И мыслить будем мы и петь.⁴⁶

Особенно много неприятностей пришлось пережить Глинке в связи с поэмой «Иов».

«Свободное подражание священной книге Иова» Глинка начал еще в первый год своего пребывания в ссылке в Петрозаводске.* Об этом свидетельствует письмо ссыльного поэта к А. А. Ивановскому, датированное августом 1826 г. «Пылкость и жизнь мыслей, утомленная, замороженная холодным чтением безобразной приказной прозы, — писал Глинка петербургскому другу из глухой Олонии, — начинает оживать в сии часы глубокого вечернего уединения. Тут внешний мир мало-помалу отклоняется, и промежуток между им и душою занимается какой-то вышею стихией. В таком расположении работаю я что-нибудь в прозе, иногда пишу и в стихах, например: «Иова».

Сам факт увлечения книгой «Иова» не является случайным. Поэты-декабристы в годы каторги и ссылки проявили специфический интерес к библейской поэзии и исторической тематике. Глинка в ссылке с особым увлечением читал древние славянские книги, которые в большом количестве имелись у старообрядцев на Севере. «Витая в сих странах древней Заонежской пятины, я нашел и приобрел, — писал Глинка в ноябре 1826 г. Н. И. Гнедичу, — уже несколько весьма любопытных книг старопечатных и письменных. Например, я имею славянскую грамматику, печатанную еще при патриархе Иосифе, ровно 178 лет перед сим. Тут сла-

* Отрывки из „Иова“ были напечатаны в 1827 году в „Сыне Отечества“ (№ 7, стр. 279—291) с пометкой автора: „1827 г. марта 21, г. Петрозаводск“. В заключение говорилось, что „продолжение имеет быть“. Но продолжения так и не появилось.

вянский язык раскрывается во всей полноте. Есть также у меня (в манускрипте), кажется, нигде не напечатанная славянская риторика, полная и по многому особенно любопытная, выбранная из лучших классиков греческих и латинских. По всему видно, что брадатые предки наши не были лишены учебных пособий. Как бы я желал показать Вам все здесь собранное!».⁴⁷

И Кюхельбекер в Петропавловской крепости просил доставить ему «славянскую библиотеку». 3 февраля 1826 г. он обратился к ген. Левашову с просьбой: «Испросите мне мою славянскую библиотеку, которая находится в числе моих книг, оставшихся у меня на квартире. Священное писание было бы для меня здесь в моем положении лучшею отрадою».⁴⁸ В библейских книгах Кюхельбекер находил мотивы, созвучные его личным переживаниям. Особенно его привлекали те сюжеты, в которых раскрывалась трагическая судьба ветхозаветных пророков. Если в «песнях отшельника» тема о поэте-пророке разрешалась в автобиографическом плане, то в эпических и драматических произведениях Кюхельбекер эту тему перенес в план библейских сказаний и исторических сюжетов. Но и здесь объективное повествование очень часто переключается в субъективное изложение личной судьбы, и сквозь исторические и библейские повествования просвечивается суровая действительность декабристской каторги. В трагедии «Прокофий Ляпунов» (1834) судьба погибающего вождя первого рязанского народного ополчения несомненно перекликается с судьбой декабристов после неудавшегося декабрьского восстания. В поэме «Давид», законченной в 1829 г. в Динабургской крепости, поэт широко использует лирические отступления, которые образуют второй план повествования. Так плач Давида над Ионафаном представляет собой не что иное как плач Кюхельбекера над Грибоедовым, написанный после получения известия о смерти друга. В субъективные тона окрашен и образ пророка Давида. Если в 20-х годах ветхозаветный песнопевец для Кюхельбекера был прежде всего пророком, защитником высоких истин, то теперь он сближен с судьбой поэта-узника.

Трудно даже сказать, где кончаются страдания Давида и где начинаются переживания поэта-отшельника:

Вновь я один: тяжелые затворы
Меня от жизни отделяют вновь,
Подъемлю к небу страждущие взоры,
Со мной простились дружба и любовь:
Не мне было, родимые, жить с Вами!

Эти и многие другие лирические отступления имеют несомненно автобиографический характер.

Еще в более субъективные тона окрашена поэма Глинки «Иов», которую ссыльный поэт задумал написать сразу же по приезде в глухую Олонию.

В годы ссылки «Книга Иова» была для поэта целым откровением, настольной книгой, своеобразным евангелием. Одна из величайших в мировой литературе религиозно-нравственных поэм, «Книга Иова», рассказывала о страданиях праведника, которого преследует рок; в ней изображалось бореие добра и зла. Иов, «величайший из сынов востока», вступил в борьбу с сатаной, лицом незримым, но коварным и губительным. Но он, свято чтивший закон и веру, становится жертвой надменного «злоначальника» (сатаны). В «Книге Иова» разбирается вопрос о том, почему бог допускает, чтобы на многострадального Иова обрушивались несчастья и гонения.

Глинка с восхищением отзывался о «Книге Иова» и считал ее самой лучшей из всей духовной поэзии. «Кто не знает, — спрашивал он, — великолепия еврейской поэзии. Но ни одна из книг библии не превосходит Иова сокровищами слога. Какое величие! Какое неистощимое богатство образов! Как горька в ней горесть, как безотраднo уныние, как ужасно проклятие! Человек никогда не говорит таким могучим голосом, как в минуты тоскливого отчаяния».

«Книга Иова», одновременно с псалмами Исаия и Давида, всегда привлекала Глинку. В годы Олонецкой ссылки эта «повесть страданий» стала особенно близка душе поэта.

На «Свободное подражание священной книге Иова», написанное Глинкой, мы вправе смотреть как на поэму во многом автобиографическую. Жалобы и страдания Иова имеют много общего с лирическим дневником ссыльного. И в предисловии к поэме поэт сам указывает на сходство переживаний Иова с собственным настроением:

«Настало другое время, когда суетливый говор стра-

стей и тревоги быта общественного заменились глубоким безмолвием пустыни. Медленный, единообразный ход времени в стране дикой, почти безлюдной, расположил душу к размышлению более спокойному, более правильному. В холодных объятиях действительности угасли пылкие мечтания юности, затихли тревожные волнения ума, и пробудилась кроткая жизнь сердца — уединенного, как страна, его окружавшая. Тогда, на берегах величественных озер, — этих огромных зеркал, в которых отражалось небо Севера, в местах, загроможденных обломками какого-то древнего мира, — раскрыл я опять книгу Иова: — и как изумился, не найдя в ней прежней неясности... Душа невольно сроднилась с страдальцем; века исчезли, расстояния не стало... Я видел, я осязал раны много страдального, я вслушивался в его жалобы томные, однообразные, как пустыни каменистой Аравии, и — мне показалось: я понял его муки, разгадал тайны скорби, непостижимой для счастливых мира».

«Книга Иова» — по словам Глинки, — «грустнейшая и величественная песнь человечества в местах земной ссылки». И такова его поэма о страдании, о томительном и одиноком существовании ссыльного поэта, который если и ждет амнистии, то только от бога.

Да, я отверженец, бездомок,
Кому чужда уже земля...
Я брошен бурей, как обломок
В грозе морей от корабля...

Печаль Иова, как и грустные размышления монаха-отшельника в поэме «Карелия», близка переживаниям поэта. Мотивы тоски, изображение пережитого и настоящего на языке легенд и библейских сказаний, скрытое признание своей правоты, намеки на неправосудие и, наконец, вера в провидение — все это характерные мотивы поэзии суда и ссылки.

Поэт ощущает трагизм своего положения и, одновременно, ропщет на эгоизм и несправедливость века. Облекшись в ризу священной поэзии, путем анализа, Глинка приходит к своеобразному самооправданию: он изображает себя, как жертву обстоятельств, клеветы и несправедливости. Этот основной мотив «Иова» можно наблюдать и в элегических псалмах, в обращениях поэта к богу правды:

О, Господи! Услышь меня:
 Я жертва бед, я жертва горя;
 От лютого тоски огня,
 Из мутного сей жизни моря,
 Меня исхить, меня спаси,
 И тихой влагой погаси
 Страстями сожженные пожары...
 Тебя молю, тебя зову:
 На бедную мою главу
 Так долго сыпались удары!
 Иссохли кости от тоски,
 И сердце, как трава, засохло:
 Я весь — безводные пески,
 Я степь — в которой все заглохло...
 На мир сквозь слезы я гляжу,
 Кругом враждебные мне лица,
 И я — налуганная птица, —
 На кровле, одиноко, сажу...

В поэме, как и в этом элегическом псалме, чувствуется какой-то особый трагизм положения: обреченность, безвыходность и одиночество.

Что наша жизнь? — Тревожный сон,
 Борьба и тяжкая работа!
 Как раб, боящийся лозы,
 Влача свой плуг под ярким зноем, —
 Все рвется, чтоб укрыться в тень;
 Все смотрит, — скоро ль долгий день
 Завечереет, скоро ль отдых:
 Так дни и месяцы текут
 Моей многострадальной жизни!..
 Все тело рушится мое:
 То вдруг его облягут раны,
 То заживут... И вдруг опять
 Моя растрескается кожа
 И, зноем накипев, болит...
 Жизнь, смерть, день, ночь... Все стало смутно...
 Сомкну ли ночью я глаза
 (Страдальцу ночь — долга, как вечность)
 Я пробужусь, я говорю:
 Когда ж рассвет? Ах, скоро ль утро?
 Приходит утро — я опять,
 Вздыхая, вопию: где ж вечер?
 Мое все тело — струп и струп,
 И я — седой стнящий труп!

Кроме изображений внутренних переживаний Иова, в поэме Глинка встречаются красочные описательные картины и аллегории, подлинно поэтические выражения и оригинальные образы. Особенно удались поэту пейзажные зарисовки, картины цветущей природы Аравии:

Весна... В долинах раем веет,
Отчизна пальмы ожила,
Как сад пустыня зеленеет,
Тиха, роскошна и светла...
Поля Аравии и горы
Лобзает синий небосклон
Цветут младые мандрагоры,
Мускат, алой и анемон;
Цветет миндаль благоуханный,
Румяный персик, абрикос,
Смолистый кедр и древо манны,
И чаща виноградных лоз.
Вдали оазис зеленеет...

Следуя за библейским текстом, Глинка не рабски подражает ему, он свободно перелагает «Книгу Иова». Изображая сатану, поэт использует народное представление о нем, в гиперболических тонах, в духе народной фантастики, описывает дьявола:

И, следом за сынами света,
Пришел, как мраз — губитель лета,
Отродье ночи — сатана,
Страшилище, огромный станом,
Как пасмурный осенний день,
В бесстенном небе великаном
Он шел...
Его хитон — был серый пламень,
Горой вздымались волоса.

Подобное изображение сатаны не понравилось, между прочим, священнику Архангельскому, который в религиозном журнале «Странник» поместил небольшую рецензию о поэме Глинки. «Изображение сатаны, как он является перед богом, — говорилось в этой рецензии, — по нашему мнению, и неестественно, и не очень поэтическое. Это изображение сатаны слишком образно и напоминает вымыслы народной фантазии»⁴⁹.

Наиболее справедливую оценку поэма Глинки получила в «Русском слове»: «Несмотря на негармоническую растянутость этой поэмы, как стройного целого, несмотря на несовременный черезчур уже цветисто-семейный и наивно-интимный элемент предисловия и посвящения, несмотря на некоторую небрежность отделки большей части безрифмованного стиха, которая как-то невольно отзывает старчеством, и дикость некоторых неестественно придуманных автором слов и натянутых выражений, мы не можем не указать на несколько пре-

красных, благородных мест поэмы, которые доходят до высоко-энергического порыва и дышат неподдельной, искренней поэзией и благородством убеждений». ⁵⁰

Начатая «под шумом северных лесов», поэма об Иове была закончена в 1834 г. под голубым небом Малороссии (в селе Ярославце, Черниговской губ.). В печати же она появилась спустя четверть века, в 1859 г. Представленная в 1835 г. в Петербургский цензурный комитет, поэма «Иов» получила отрицательный отзыв и к печати не была разрешена. Цензор Никитенко указал на ряд мест в поэме, где пророк Иов обращается с упреком к богу и вступает с ним в открытую полемику. Еще раньше, до поэмы «Иов», Глинка обнаружил в элегических псалмах стремление запросто разговаривать с богом, иногда поучать и даже упрекать последнего. Баснописец И. А. Крылов в разговоре с М. М. Погодиным справедливо заметил однажды: «Глинка с богом за панибрата, он бога в кумовья к себе позовет». Это «панибратство» вело к снижению библейских сюжетов, к опрощению образов духовной поэзии. К тому же Глинка постоянно проводил ту мысль, что бог должен искоренить на земле ложь и неправду, покарать пороки, подать руку страждущим и угнетенным. Он обращался к богу со стихами, в которых часто слышался какой-то упрек:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.

И в поэме «Иов» страждущий пророк объясняется с богом как равный с равным и даже упрекает бога за равнодушное отношение к страданиям человечества. Это не понравилось цензору.

«Иов в тяжелых муках страдания, — пишет цензор, — часто обращается к богу, которые выражены иногда весьма сильно. Например:

Казнитель злых казнит и добрых:
Незримый хлещет бич его
В чело надменного злодея,
Но часто и смиренным он
Кровавые наносит раны...
Когда же жизнь для всех... То пусть
Казнил бы вдруг. Почто же мучить
И сокрушать за костью кость,
Вытягивать за жилой жилу

И над болезнью страшных ран
Смеяться! — Горе! Нечестивым
Земля на муку отдана...

О боже! Я тобой гоним!
Как страшный лев с своей добычей:
Отпустит, даст на миг вздохнуть,
И вмиг, одним прыжком хватает
И держит бедную в когтях...
Так ты со мной: ослабишь муку
И муками пронзаешь вновь...

Кто знает: что там за могилой
И оживет ли человек? ..

Но где же бог? Вотще зываю,
Вотще кругом его ищу:
Гляжу направо — исчезает,
Налево — нет! Вверху, внизу...
Ни пред собой, ни за собою
Его не вижу... Бога нет!

Таких мест довольно много встречается в предложении «Иова». Хотя подобные мысли и находятся в славянском переводе, но, будучи облечены в другую одежду выражений, они не поражают столько читателей». ⁵¹

Петербургский цензурный комитет, по этим причинам, не решился одобрить поэму Глинки и «пожелал испросить на сие разрешение высшего начальства».

Поэма «Иов» поступила на рассмотрение духовной цензуры. Духовная цензура не одобрила поэму Глинки по довольно любопытным причинам, изложенным в журнале заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 11 августа 1836 г.

«Статья 3-я. Слушали отношение С.-Петербургского комитета духовной цензуры от 3-го августа, за № 136, коим оный уведомлял, что рукопись под названием: Свободное предложение книги Иова Ф. Глинки, по отзыву цензора, признанному комитетом справедливым, не может быть одобрена к напечатанию: ибо а) во введении прелататель обнаруживает ложный взгляд на книгу Иова, — называет ее драмой, каковое название может ввести в соблазн простого читателя, ибо по его мнению драма представляется только на театре; а книга Иова есть каноническая книга священного писания. Прелататель держится мнения, что Иов был дуалист, и что сама книга много повреждена от разных причин. б) В самом переводе прелататель позволяет себе излишнюю

вольность: влагает в уста Иова и его друзей такие мысли, каких нет ни в еврейском, ни в славянском тексте, например:

Бедняк! Ты другом божьим слыл,
Прекраснс друг тебя почтил!
Воздень с угрозой к небу длань
И, посмеясь над горней сллой,
Отважно бога прокляни
И надругайся над судьбою.

Притом прелагатель посвящает свободное предложение «Иова» жене своей. Кажется, что такое посвящение не совсем согласно с верностью канонической книги священного писания. в) «Краткое извлечение из критического разбора на книгу Иова». Этот критический разбор книги Иова, еще рукописный, не принадлежит прелагателю, и, по его словам, сделан человеком умным и знающим — вероятно для классических упражнений юношества, обучающегося в духовных училищах, что следовательно не доказано, и чего доказать нельзя, ибо ни в каких духовных училищах не видно руководства. Посему извлечение из сего разбора не может быть пропущено к напечатанию.

Определено задержать рукопись при делах комитета и о запрещении оной уведомить прочие цензурные комитеты.

Подписал верно: секретарь Семенов.

Рукопись с разрешения г. председателя цензурного комитета возвращена г. цензору Корсакову, для возвращения ее автору.⁵²

Этот отзыв духовного цензора произвел на Глинку тяжелое впечатление.* Он написал «Письмо г. Цензору», которое представляет самостоятельный интерес, как яркий документ из истории николаевской цензуры.⁵⁵

* Не предполагая, кто был первым цензором «Иова», Глинка обратился к влиятельному Никитенко за содействием. А. В. Никитенко, запретивший «Иова», в ответном письме Глинке дал поэмную высокую оценку:

«Позвольте, — писал Никитенко, — мне разделить с Вами удовольствие, доставленное мне чтением Вашего прекрасного предложения. В нашей литературе немного подобных произведений. Есть места превосходного достоинства в поэтическом отношении».⁵³

Глинка в свою очередь отвечал Никитенко:

«Отзыв Ваш насчет моего «Иова» есть уже для меня награда за труд, в который я положил последний краткий досуг, похищенный у службы изнурительной, многотрудной, которая безжалостно расстроила здоровье моё».⁵⁴

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМО К ЦЕНЗОРУ,

положившему запрещение на рукопись мою: «Свободное предложение в стихи книги Иова».

„Доищемся, в сем деле правды!
(Из прелож. кн. Иова)

Есть в жизни печали, которых и самое время исцелить не может. Уста молчат, но душа чувствует нанесенный ей удар, особливо если нанесен он несправедливо. Такая печаль, поражающая всего человека, во всех его отношениях, в его гражданском, душевном и духовном быте, приключилась мне за несколько пред сим лет.

В гражданском быту, — лишен я своей материальной собственности, — т. е. рукописи, которой переписка и перепечатка стоили мне дорого и которую господин цензор отнял у меня, засеквестровал и сдал в каменный архив на истление, не возвратив мне моего экземпляра!.. В быту душевном лишен труда, который, — плод многолетней работы, — заключал в себе весь жар души моей, весь аромат мысли, трудившейся над делом благородным, святым. Эта двойственная потеря не могла не отразиться и на самом духе моем, не могла не погрузить его в глубокое горе, тем более, что всякая потеря вещественная вознаграждается трудом и работою, а моя должна остаться невознаграждимою. — В таком состоянии духа узнал я Вас. Довольно было взглянуть на лицо Ваше ясное, приветное, чтобы ощутить к Вам чувство самое признанное, и самая краткая беседа достаточна была для того, чтобы показать в Вас мужа той снисходительности, которую можно приобрести только у подножия алтаря — в служении богу любви и милосердия. Мог ли я, находясь в таком отношении к Вам, достопочтеннейший муж, мог ли подозревать, что Вы то и были тем одним (если не единственным) человеком, которым нанесен мне удар

самой острой печали?!.. Откровенно и просто Вы сами показали мне руку, которая разбила все надежды, раздробила многолетний труд и опечалила трудившегося. С беззлобием младенца, с смиренным христианина поцеловал я руку, нанесшую мне столько зла. Оцените это — и, платя за любовь любовью, — дозвоьте и Вы мне, — когда я уже лишен возможности проявить труд мой пред лицом отечества, проявить хотя здесь, пред лицом Вашим, мысли мои о том, что сбылось со мною. Для этого я брошу обратный взгляд на ход дела о книге Иова, мною предложенной, — Вами за-прещенной. Вам известно время, когда отправил я в С.-Петербургскую цензуру большую рукопись под заглавием. «Свободное предложение в стихи, книги Иова». Рукопись была принята, и прочитана общею светскою цензурою, и, в течение двух месяцев, получил я два отзыва одобрительных для сочинения, ободрительных для сочинителя.

Бывший сам цензором, П. А. Корсаков писал ко мне: «Брат мой кн. Михаил Александрович — председатель С.-П. Цензурного комитета, поручил мне довести до сведения Вашего превосходительства, что главное управление цензуры предписало нам: рукопись Вашу «Предложение книги Иова» препроводить, для предварительного просмотра в духовную цензуру. Но в то же время брат мой поручил мне Вас успокоить, милостивый государь, другим обещанием: если б цензура духовная замедлила возвращением этой рукописи, то брат (председатель цензурного комитета) лично употребит свое настояние к скорейшему ее истребованию для окончательного рассмотрения по ведомству гражданской цензуры»...

Вскоре, после этого, я получил другое письмо от человека светлой мысли, известной учености, — такого же цензора — г. Никитенки. Извещая, что председатель цензурного комитета, князь Дундуков-Корсаков, предполагает, в случае надобности, сделать особое представление г-ну министру просвещения о скорейшем пропуске моей рукописи, он пишет следующее:

«Позвольте мне разделить с Вами удовольствие, доставленное мне чтением Вашего прекрасного предложения. В нашей литературе не много подобных произведений. Есть места зерюкклассного достоинства в поэтическом отношении. — Глаголы бога к Иову дышат величием, и священный ужас проникает душу, когда внимаешь им; а им внимаешь потому, что Вы это явление особенно оживили кистию роскошною и разительною. Все целое дышит какою-то патриархальною простотою, которую Вы уловили в библейском мире. Книга Ваша будет драгоценною для души, посвященной в тайны высокой скорби.»

Такие известия доходили ко мне из светской цензуры. Между тем рукопись моя читалась, начиная с Ив. Ив. Дмитриева, — лучшими нашими литераторами и в лучших домах любителей отечественного слова. Молва об этой литературной новости дошла и до государя наследника, и его императорское высочество изъявил желание прочесть мою рукопись. Знаменитый наш В. А. Жуковский и другие особы, окружавшие тогда государя наследника, читали в присутствии его поочередно все сорок глав моего предложения, после чего г. генерал-адъютант Кавелин уведомил меня письменно, что его императорское высочество желает иметь копию с рукописи моей для своей библиотеки. Тогда же, в журналах тех годов, сказано было: «к общему удовольствию,

в скором времени, выйдет в свет давноождаемое* стихотворное предложение кн. Иова Ф. Глинки, поступившее уже в цензуру». —

Судите сами, мог ли я, после всего этого ожидать чегонибудь худого для литературного произведения моего?.. Но худое пришло неожиданно. За тринадцатимесячным молчанием со стороны духовной цензуры, получил я из комитета оной шесть пунктов (заклучавшихся в шести небольших фразах) по коим рукопись моя запрещена. И так эти шесть пунктов одним разом поразили мой шестилетний труд, и несколько прозаических строчек на небольшом листке бумаги уничтожили огромный том и шесть тысяч звучных, дельных русских стихов!..

Рассмотрим же эти роковые пункты. В доставленной мне выписке из протокола сказано: «по отзыву духовного цензора, а этот духовный цензор — Вы, предложение книги Иова не может быть напечатано, — ибо — это ибо Вы говорите: «Во введении (заметьте: не в тексте, не в стихах, а в простом, прозаическом введении) прелогатель обнаруживает ложный взгляд на книгу Иова, называя ее драмою, а драмы представляются только на театрах».

Позвольте... Кроме того, что это самое комическое воззрение на драму — оно и несправедливо: потому, что не я (не прелогатель, а Михаелис, Умбрейт, Гердер, Ловт, Пирреда (написавший и жизнь Иова), Шпангейм, Бернштейн, Гензениус, Эйхгорц, Деветте, Шультен и многие другие называют книгу Иова (состоящую из действия и разговоров): «Великою пустынною драмою» или «драмою богосудебною».**

Я в предисловии (или введении) моем сделал только общий свод отзывов всех знаменитых писателей и привел их подлинные выражения и слова.

Если ж не понравилось вам слово «драма», вы вправе были зачеркнуть его вашим цензорским пером, и мое введение ничего бы от того не потеряло. Впрочем (скажем мимоходом) — наш святитель Дмитрий Ростовский писал также драмы, заимствуя их всегда из книг св. писания, и эти драмы или мистерии были представляемы всенародно. Итак, согласитесь, что Вы напрасно назвали мой взгляд ложным: последнее слово (пустим его гулять на все четыре ветра!..) столько же оскорбительно, как и несправедливо, ибо, — как я уже сказал, — я не выражал ровно никакого собственного взгляда, а представил только взгляды других.

Пойдем далее: вот еще пункт. Вы говорите: «Прелогатель держится мнения, что Иов был дуалист». Прочитав это, я пощупал себя за голову и чувствовал, что она еще не повернулась затылком вперед, а для того, чтоб верить дуализму, надобно иметь на месте лба затылок!..

Помилуйте, пощадите! Лучше наложите на меня какую хотите эпитетью, чем нелепый поклеп в дуализме. Отроду не держался

* По поступления в цензуру многие отрывки из моего предложения были напечатаны, — из одних журналов в другие перепечатаны и всегда цензурою свободно пропущены.

** Кто ж из русских писателей не называл книгу Иова драмою? Я могу указать почтенному цензору много и много мест, где она в печати названа драмою не потому, что драмы играют только на театрах, а потому что драмы (слово греческое) означают действие, представление, разговор между действующими, и по всему этому не есть название унижительное.

я мнения, что Иов был дуалист! И кто ж в XIX столетии захочет быть поклонником Митры или верить в Аримана?!

В 6-ти тысячах стихов моих, в устах Иова, постоянно звучит вера чистая, прямая; верю в единого, всемогущего, всеустраивающего бога. Это правда, что в предисловии* моем назвал я сатану злоначальником; но это единственно для того, чтобы избежать простонародных выражений дьявола, чорта.

Слово «злоначальник» не мое. Этим прозвищем называет сатану один из отцов церкви Макарий Великий: следовательно, вины (если это вина) должно искать не на мне, а на самом великом святителе!

Далее: Вы, г-н цензор — обвиняете меня в том, что жена Иова говорит мужу своему «Прокляни бога и умри!» — А как же иначе?!

Я следовал текстам, кроме славянского, французскому, немецкому, итальянскому, польскому, русскому (рукописному), и, посредством знающих людей, советывался с подлинником еврейским, следя, между тем, за всем длинным рядом ученых толкователей писавших в разные времена, на разных европейских языках о книге Иова. Только путем сличения одних с другими, можно было достигнуть ясности в предложении книги, пережившей тридцать веков и сотни поколений. А известно ли Вам, что в книге Иова есть такие темные места, что на каждое из них насчитывают по 20, 30 и даже до 32-х толкований, составленных вследствие глубочайших исследований учеными мужами Европы? — Потрудитесь новости об этом вернуть справку и Вы согласитесь, что я пишу не наобум!.. Вы насчитываете на меня еще одну вину за то, что я сослался на ученой разбор книги Иова, подаренный мне (в рукописи) одним весьма просвещенным епископом. Этот разбор (как мне сказали) принадлежит известному нашему филологу, — знатоку в древних языках, — человеку, которому любая академия готова отворить двери свои, одним словом: — г-ну Павскому. Надежно и приятно было мне опереться в прозаических моих замечаниях на ученое свидетельство такого человека! — Не знаю, почему восстали Вы против этого и, в одном из запретительных пунктов Ваших, сказали: «Извлекайте из сего разбора (из ученого разбора г. Павского) не может быть пропущено к напечатанию». Вот ваши пункты, а теперь следует самый грозный, самый громоносный из шести моих обвинителей. Вся природа моя трепещет и цепенеет ожидая этого решительного удара. Вот он!.. Вы говорите: «Прелагатель свое предложение Книги Иова посвящает жене своей!». Тут следовало бы мне, вместо всякого ответа, поставить только целый ряд удивительных знаков: потому, что заключение Ваше, в самом деле, удивительно до изумления. Почему ж Вы, почтеннейший! отнимаете у меня право и наслаждение приписать поэтический труд мой жене моей, которая имела самое прозаическое терпение переписать его три раза своею рукою?! Почему, скажите мне, стихотворное предложение, хоть и духовной книги, не совместно с именем жены моей?.. А разве мало книг духовного содержания, даже священных историй и прочего, напечатано с посвящением особам светским, вельможам и проч.*

* Все эти замечания относятся к предисловию, а не к тексту.

* * Книга „История Нового Завета и земной жизни спасителя“ посвящена князю Сер. Мих. Голицыну.

Жена моя, (честь имею Вас об этом уведомить) с одной стороны, по роду своему, — есть внучка двух российских фельд-маршалов и дочь сенатора, а с другой — по характеру своему была и есть — добрая христианка и стала известна как издательница жизни богородицы — книги которая, уже третьим изданием расходуется по всему пространству России.

Если же Вы, паче чаяния, подумали, что литературно обработанная книга Иова не может быть посвящена вообще женскому полу, то раскройте послания апостольские и сами увидите, что Иоанн Богослов, — светило христианского мира, — второе соборное послание написал на имя госпожи. Конечно, тогда не было еще человека, который заметил бы такое неприличие Богослову и не пропустил бы в свет второго соборного послания за то, что оно писано к госпоже. Но будьте справедливы и скажите: когда ж св. церковь чуждалась того пола, который, прославленный в лице пресвятыя девы, с таким самоотвержением следовал за Христом до креста его, обливал слезами его раны и был первым вестником его славного воскресения?

За что ж Вы поставили обвинительным (против меня) пунктом: посвящение литературного моего труда жене моей? за что?..

Но вот уж и все пункты, по которым Вы запретили книгу мою! — Пригласите теперь на домашнее совещание совесть, здравый рассудок и логику и, пред лицом этой почтенной коллегии, пересмотрите вновь все производство Ваше, я уверен, что по пересмотре дела, Вы сами убедитесь, что не за что было запрещать мою книгу!.. Из шести Ваших пунктов четыре, — из которых четвертый сливается у Вас с тремя предшествующими — относятся к прозаическому введению или предисловию, которое (если бы вы благоволили снестись со мною) могло быть изменено, заменено и совсем отменено. Пятый пункт метит на г-на Павского, а шестой протестует против имени жены моей.

Вот и все!.. Больше нет ничего!.. И по таким-то причинам, которые исчезают, как дым, при одном прикосновении к ним луча истины, запретили Вы мою книгу, арестовали мою материальную собственность и, хладнокровно, замкнули ее в холодном подвале, где крысы и моль пожирают теперь шестилетний труд, проникнутый чувством и мыслью поэта. Что скажете Вы о том архитекторе, который, заменив три кривых бревна во флигеле, приказал сломать до тла и флигель и целый огромный дом, к которому он принадлежал? — Этот флигель — мое предисловие, архитектор — Вы, — а изломанный Вами дом — моя книга! —

— Но знаете ли, почтеннейший! Что между тем, как мы видимо скользим куда-то, среди шума и трескотни нашей современности, есть существа, которые, в тишине и невидимо, наблюдают за всеми нашими делами и верно передают их потомству. — Что же скажет потомство о нашем с вами деле? — «Был человек (скажет оно), который, слившись душою с жизнью и страданиями библейского Иова, старался передать на языке своем все стоны, все оттенки скорби великой, находившей постоянное сочувствие во всех племенах, у всех народов, населявших землю в продолжении 30 столетий. Приступая к делу, он собрал все, что говорено было о предмете им усвоенном, окружил себя книгами и манускриптами и, отдавая все дни свои обязанностям службы, посвящал ночи труду. При свете скромной лампы, в скромном уединении, часто садился он, — этот труженик, — за свою работу при

вечернем восходе луны и вставал из-за рабочего стола только при восходе солнца:

Так бывало, ночи целые,
Он просиживал в тиши:
Гасли свечи нагорелые,
Но не гас огонь души!

Желая пересадить вполне пальмы Востока на почву дальнего Севера, этот человек допрашивал предания, гонялся мыслью за путешественниками, читал и вчитывался в их ученые и живописные рассказы и, стараясь уловить всю пластику, весь аромат древнего Востока, писал картины великолепной природы пустынь аравийских и чудной жизни патриархов библейских.

Наконец, он собрал, разобрал и устроил все в одно целое, стройное, гармоническое... И, с чувством умиления, положил книгу свою на алтарь отечества. Что ж сделали с этою книгою, с этим воссозданным прапращуром книг, не обветшавшим и в продолжении 30 веков?.. Ее, — эту книгу из книг, — столкнули с лица земли и бросили, как ничтожную ветвь, в подземное устье на съедение моли!»

— Вот что скажет потомство, и то, что оно скажет, поверьте, будет сущая правда! — Что ж с этим делать? Думаю, изобретаю, чем бы оправдать такой странный поступок со мною, и вспоминаю, что в кратком между нами разговоре Вы сослались на какое-то, будто бы, постановление.

Что ж это за постановление, о котором ни одним словом не упомянуто ни в запретных пунктах Ваших, ни в протокольной бумаге мне присланной? — Какое ж это постановление — общее или частное, временное или постоянное?

Всякое дело объясняется своими последствиями. Если это постановление было общее, то каким же образом могли явиться в свет, уже после запрещения моей книги, и в большом количестве разные преложения из разных книг. Ветхого и Нового Завета?! Посмотрите, сколько вышло таких преложений. Но всего удивительнее, что с дозволения той же, мне неблагоприятной, духовной цензуры, почти все священное писание исчерпано и перелито в русские стихи г. Фараоновым в книге его, изданной только в 1847-м году. Еще позже, гораздо позже, — издана книга «Вера, Надежда и Любовь», в которой целые длинные молитвы и собеседования с богом написаны светским языком, в которой помещено также много преложенных и даже перефразированных церковных молитв («Свети тихий, царю небесный» и проч.) и иносказательное описание Христа: все в стихах, все по-русски!.. И все это прекрасно, да не прекрасно то, что позволяют одному, а не позволяют другому!.. Но обратимся к книге г. Фараонова, в ней найдете вы и преложения в стихах книги Иова..

Объясните же мне, — человеку темному в делах этого рода: почему книга Иова, преложенная в стихах Фараоновым — (человеком веры, но из духовного звания) — пропущена; а такая же книга, преложенная пишущим эти строки — запрещена?!

Я мог бы сказать еще многое... Но ограничиваюсь тем, что высказалось. Извините, если некоторые выражения покажутся Вам неприятными: авторская кровь заговорила!.. Всякому дорого свое... Мой шестилетний труд, мои лучшие поэтические надежды,

мою книгу, читанную в кабинетах наших писателей, в палатах сановников и у государя наследника, эту драгоценную для меня рукопись, — одобренную знатоками и любителями, — Вы раздавили как комара, растоптали как моль и бросили одним швырком на съедение крысам!..

«Ведь я не каменный, не медный!» — восклицает многострадальный Иов. Но я, прелогатель его, — я молчал, как камень, пока Вы сами не подали мне случая высказать Вам все что высказалось.

Заключая уверением, что ни тени негодования не остается в душе моей против особы Вашей, я, с истинным к Вам уважением, имею честь назвать себя Вам

покорнейшим слугою.

С.-Петербург. 8 января 1849 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дело о коллежском советнике Федоре Глинке, сосланном в 1826 г. в Петрозаводск под тайный надзор полиции, находится в Центральном Гос. Архиве внутренней политики, культуры и быта, № 489 (начато 13 июля 1826 года — кончено 16 декабря 1826 года) и в Центральном Архиве Революции: ф. III, отд. 1, экз. № 61, часть 186 за 1826 г. л. 4. Материалы были опубликованы в статье «Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка в ссылке в Петрозаводске», альманах «Карелия», 1938 г., стр. 205—224.
2. «Русский вестник», 1863, сентябрь, стр. 381.
3. «Русская старина», 1889, июль, стр. 119—124; авт. хранится в Институте литературы (ИРЛИ).
4. «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1895 г.», СПб, 1898, стр. 37—38; авт. хранится в Институте литературы (ИРЛИ).
5. «Северная пчела», 1828, № 98.
6. «Московское обозрение», 1877, № 16, стр. 418; авт. хранится в Гос. архиве феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ).
7. «Русская старина», 1889, июль, стр. 124.
8. «Литературный вестник», 1902, кн. 8, стр. 348.
9. «Кометы Белы на 1833 год», стр. 24—25; авт. Калининский Обл. истрах. Стихотворения, на 163 л., № 402, св. 26, л. 61 и об., с пометкой автора: «Петрозаводск, 1827 г.»
10. Гос. Архив феодально-крепостнической эпохи, ф. 584, д. 10, л. 12 и об. и 13.
11. «Литературное прибавление к Русскому инвалиду», 1831 г., ч. IV, стр. 766. Авт. Калининский Обл. истрах, стихотворения на 136 л., № 402, св. 25 л. 62, с пометкой автора: «Петрозаводск, 1827 год».
12. «Литературный музей на 1827 год», стр. 270—271; авт. Калининский Обл. истрах, стихотворения на 79 листах, № 401, св. 25, л. 10, с пометкой автора: «Петрозаводск, 1829 год».
13. А. С. Пушкин, изд. Академии Наук, СПб, 1908, т. IX, стр. 344.
14. «Дева Карельских лесов». Публикация и статьи В. Базанова. Петрозаводск, 1939 г. стр. 3—113.

15. «Труды Вольного общества любителей российской словесности», 1818, № 10, стр. 83.
16. «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, № 7, стр. 83—86.
17. «Опыты аллегории и иносказательных описаний», СПб, 1826, стр. V—VI.
18. «Московское обозрение», 1877, № 16, стр. 418—419.
19. Рукопись без №. Хранится в Гос. архиве феодально-крепостнической эпохи, лл. 22—26 и об.
20. «Пушкин и его современники», вып. VIII, стр. 92.
21. «Бумаги А. С. Пушкина», 1881, вып 1, стр. 31—32.
22. Гос. архив феодально-крепостнической эпохи, ф. 584, бумаги Ф. Н. Глинки, рукопись на 1 л.
23. «Известия общества изучения Олонецкой губернии», 1913, № 1, стр. 55.
24. Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч. ГИХЛ, 1934, т. 1, стр. 119—120.
25. «Воспоминания Бестужевых», М, 1931, стр. 65.
26. «Галатея», 1830, ч. XII, стр. 132—133.
27. «Русский архив», 1882, № 6, стр. 135.
28. Орест Сомов. О романтической поэзии, СПб, 1823 г., стр. 86.
29. В. М. Жирмунский. Байрон и Пушкин. 1924, стр. 205.
30. «Прокопий Ляпунов». Трагедия В. Кюхельбекера. Ред. и вступительная статья Ю. Тынянова. Л. «Советский писатель», 1938 г., стр. 8—9.
31. «Литературная газета» № 10. Смесь, стр. 48.
32. Гос. архив внутренней политики, культуры и быта, ф. 584, бумаги Ф. Н. Глинки на 1 л.
33. «Литературная газета», 1830, № 7, стр. 48.
34. «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1830 год», стр. 410.
35. «Отчественные записки», 1830, май, стр. 255—256.
36. «Северные цветы» на 1831 год, стр. 44—45.
37. «Северный Меркурий» на 1830 год, стр. 85.
38. См. «Дева Карельских лесов», стр. 9.
39. «Олонецкие губернские ведомости», неофициальная часть, 1844, № 27, стр. 117—118.
40. Стихотворения Ф. Н. Глинки «С железной палкою своей» и запись народного предания о «Блаженном» находятся в Гос. архиве феодально-крепостнической эпохи, ф. 584, № 421, на отдельном листе.
41. «Олонецкий сборник», 1804, вып. 1, стр. 307.
42. В. Харузина, «На Севере», М., 1890 г., стр. 95—96.
43. «Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год», стр. 792—199.
44. Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, ф. 584, без №.
45. Рук. отд. Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Письма к А. А. Краевскому, л. 166 и об.
46. Гос. архив феодально-крепостнической эпохи, ф. 584, арх. № 10, л. 28.
47. «Отчет Имп. публ. библиотеки за 1895 год», СПб., 1898 г., стр. 40.
48. Архив академиков. Академия Наук СССР, бумаги ак. Дубравина, ф. 100, отд. 1, № 297, л. 8.
49. «Странник», 1860 г., кн. 1, стр. 26.
50. «Русское слово», 1850 г., № 6, стр. 106.

51. Материалы Петербургского цензурного комитета о поэме «Иов» находятся в рук. отд. ИРЛИ Академии Наук СССР.
 52. Там же.
 53. Письмо А. В. Никитенко от 10 сентября 1835 г. хранятся в ИРЛИ.
 54. Письмо Ф. Н. Глинки к А. В. Никитенко от 30 сентября 1835 года находится в рукоп. отд. ИРЛИ.
 55. «Письмо г. Цензору, положившему запрещение на рукопись мою: «Свободное предложение в стихи книги Иова» находится в Калянинском Облистархе, арх. № 399, св. 25.
-

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Ссылка в Петрозаводск	6
Лирика ссыльного	16
Незавершенная поэма о ссыльном	21
Историческая тема в поэме „Карелия“	41
Продолжение темы о ссыльном	49
Описательная тема и стиль „северных поэм“	64
Работа над материалом	81
Фольклорные мотивы и образы	90
Переводы карело-финских рун	101
Цензурное гонение	108
Письмо к цензору	118
Примечания	125
